

С. Н. Захарова, Г. М. Юстинская

Русская литература 6

Часть 2



С. Н. Захарова, Г. М. Юстинская

Русская литература

Учебное пособие для **6** класса
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения

Под редакцией С. Н. Захаровой

В двух частях

Часть 2

*Допущено
Министерством образования
Республики Беларусь*



МИНСК
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ
2019

УДК 821.161.1.09(075.3=161.3=161.1)
ББК 83.3(2Рос=Рус)я721
3-38

Р е ц е н з е н т ы:

кафедра литературы и межкультурных коммуникаций учреждения образования «Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова» (кандидат филологических наук, доцент *А. В. Иванов*);

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории государственного учреждения образования «Гимназия № 24 г. Минска» *Т. Ю. Пантелеева*;

кафедра современных методик и технологий образования государственного учреждения образования «Академия последиplomного образования» (кандидат педагогических наук, доцент кафедры *И. Н. Слесарева*);

учитель русского языка и литературы квалификационной категории «учитель-методист» государственного учреждения образования «Гимназия № 10 г. Минска» *Т. А. Квятинская*

Условные обозначения:



— повторение изученного;



— определение новых терминов и понятий;



— вопросы и задания для самостоятельной работы;



— задания для самостоятельной работы по выбору учащихся (в том числе творческого характера);



— материал справочного характера;



— вопросы и задания для обобщения изученного;



— задания из электронного образовательного ресурса «Русская литература. 6 класс», размещённого на национальном образовательном портале <http://e-vedy.adu.by>.

ISBN 978-985-594-315-1 (ч. 2)
ISBN 978-985-594-316-8

© Захарова С. Н., Юстинская Г. М., 2019
© Оформление. НМУ «Национальный институт образования», 2019

Повесть как эпический жанр



Литературный герой

В художественном произведении изображаются внутренний мир и поступки людей. Их называют литературными героями.



Литературный герой (персонаж) — образ человека, о котором рассказывается в художественном произведении.

Как правило, литературные герои имеют своих прототипов — реальных людей, которые попадали в ситуацию, похожую на описываемую в произведении. Однако писатель не точно следует действительности. Он может изменить черты внешности, детали биографии, последовательность и результат поступков и т. д.

Литературные герои бывают *положительными* (тогда они несут добро окружающим, в их характере больше хороших черт) и *отрицательными* (они разрушают чужие судьбы, сами обладают неприглядными чертами). Однако часто литературного героя, как и любого человека в реальной жизни, сложно отнести к положительным или отрицательным персонажам.

В зависимости от того, насколько важен персонаж для развития сюжета произведения, литературных героев можно разделить на *главных* и *второстепенных*.

В роли литературного героя могут выступать не только люди, но и звери, птицы, рыбы, насекомые и даже вещи.



1. Всегда ли литературным героем является человек? В каких жанрах могут выступать в качестве персонажей не люди?

2. Докажите, что в баснях и сказках герои всегда чётко делятся на положительных и отрицательных.



3. Объясните, почему нельзя считать Троекурова исключительно отрицательным персонажем, а Владимира Дубровского — положительным героем. В каких ситуациях они проявляли нетипичные для себя черты?



4. Узнайте, кто был прототипом для героев повести А. С. Пушкина «Дубровский». Подготовьте небольшое сообщение об этом.

Александр Сергеевич ПУШКИН

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА



В 1820-е годы проза в русской литературе была слабо развита. Пушкин сомневался, примут ли его прозаические произведения читатели и критики, не посчитают ли снижением таланта новое направление в его творчестве. Именно поэтому пять повестей, написанных им в Болдине¹, он решил опубликовать под вымышленным именем. В 1831 году вышли «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.».

¹ *Болдино* — село в Нижегородской области, принадлежавшее роду Пушкиных. Здесь осенью 1830 года поэт написал более 40 произведений разных жанров.

Поэт понимал, что созданные им произведения необычны, так как в русской литературе того времени не было ничего подобного. На вопрос знакомого о том, кто такой Белкин, А. С. Пушкин ответил: «Кто бы он ни был, а писать повести надо вот эдак: просто, коротко и ясно».

СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ

*Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор.
Князь Вяземский*

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подъячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем однако справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Суший мученик четырнадцатого класса, ограждённый своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днём, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него, как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. Боже! Какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принуждён он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту

отдохнуть от крика и толчков раздражённого постояльца. Приезжает генерал; дрожащий зритель отдаёт ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Через пять минут — колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную¹!.. Вникнем во всё это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Ещё несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого зрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных зрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные зрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казённой надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия зрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нём-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил про-

¹ Подорóжная (устар.) — документ, удостоверяющий право пассажира пользоваться определённым количеством почтовых лошадей для передвижения.

гоны за две лошади. Вследствие сего зрители со мною не церемонились, и часто брал я с собою то, что, во мнении моём, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие зрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! И слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трёх верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию первая забота была поскорее переодеться, вторая — спросить себе чаю. «Эй Дуня! — закричал зритель, — поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота её меня поразила. «Это твоя дочка?» — спросил я зрителя. «Дочка-с, — отвечал он с видом довольного самолюбия, — да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу-мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына¹: в первой почтенный старик в колпаке и шлафоре² отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окружённый

¹ *Блудный сын* — герой евангельской притчи; человек, раскаявшийся в своих заблуждениях (ошибках).

² *Шлафорка* — домашний халат.

ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище¹ и в треугольной шляпе, пасёт свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафореке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочёл я приличные немецкие стихи. Всё это доньше сохранилось в моей памяти, также как и горшки с бальзаминном, и кровать с пёстрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зелёный сюртук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведённое ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу её стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроём начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у неё позволения её поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев, с тех пор как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу её снова.

¹ Рубище (устар.) — изношенная одежда из грубой ткани.

Но, подумал я, старый зритель, может быть, уже сменён; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моём, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Зритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину — и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? — спросил я его, — мы с тобою старые знакомые». — «Может статься, — отвечал он угрюмо, — здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало». — «Здорова ли твоя Дуня?» — продолжал я. Старик нахмурился. «А бог её знает», — отвечал он. — «Так, видно, она замужем?» — сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал шепотом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? — начал он. — Кто же и не знал её? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили её, та — платочком, та — серёжками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом



Ил. Д. А. Шмаринова

деле только чтоб на неё подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житьё? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне своё горе. — Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда зритель разлиnevывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошёл в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сём известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное своё действие. Гнев проезжего прошёл; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдёрнув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с чёрными усиками. Он расположился у зрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и зритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но возвратясь, нашёл он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась,

невозможно было ехать... Как быть! Смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьём у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы, и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дня через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.



Ил. М. В. Добужинского

Прошёл ещё день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дуней, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедни. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дуней и вызвался довезти её до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении...

«Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошёл сам к обедни. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошёл в церковь; священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились ещё в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошёл домой ни жив ни мёртв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила её крёстная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил её. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелён, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снёс своего несчастья; он тут же слёг в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров, и что тогда ещё догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностью, но он ни мало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два ме-

сяца и, не сказав никому ни слова о своём намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вёз его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, — думал смотритель, — приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живёт в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришёл он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушёл и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье¹. «Что, брат, тебе надобно?» — спросил он его. Сердце старика закипело, слёзы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнёс только: «Ваше высокоблагородие!.. Сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повёл в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! — продолжал старик, — что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею, не погубите ж её понапрасну». — «Что сделано, того не воротишь, — сказал молодой человек в крайнем замешательстве, — виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе её? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она — вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

¹ *Скуфья* — головной убор православного духовенства.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава свёрток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублёвых смятых ассигнаций. Слёзы опять навернулись на глазах его, слёзы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошёл... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошёл!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз ещё увидеть бедную свою Дуню. Для сего, дня через два, воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял — да и пошёл.



Ил. М. В. Добужинского

В этот самый день, вечером, шёл он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трёхэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула

в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? — спросил он, — не Минского ли?» — «Точно так, — отвечал кучер, — а что тебе?» — «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живёт». — «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у неё». — «Нужды нет, — возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, — спасибо, что надоумил, а я своё дело сделаю». И с этим словом пошёл он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь, — отвечала молодая служанка, — зачем тебе её надобно?» Смотритель, не отвечая, вошёл в залу. «Нельзя, нельзя! — закричала вслед ему служанка, — у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шёл далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошёл к растворённой двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своём английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая чёрные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там? — спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковёр. Испуганный Минский кинулся её подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошёл к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? — сказал он ему, стиснув зубы, — что ты за мною всюду крадёшься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошёл вон!» — и сильной рукою, схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришёл к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступить. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию, и опять принялся за свою



Ил. Д. А. Шмаринова

должность. «Вот уже третий год, — заключил он, — как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог её ведаёт. Всяко случается. Не её первую, не её последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули моё сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно ещё, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моём приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» — никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и жёлтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «От чего ж он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» — «За околицей, подле покойной хозяйки его». — «Нельзя ли довести меня до его могилы?» — «Почему же нельзя. Эй, Ванька! Полно тебе с кошкою возиться.

Проводи-ка барина на кладбище, да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повёл меня за околицу.

— Знал ты покойника? — спросил я его дорогой.

— Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!), идёт из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! Орешков!» — а он нас орешками и наделяет. Всё, бывало, с нами возится.

— А проезжие вспоминают ли его?

— Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернёт, да тому не до мёртвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

— Какая барыня? — спросил я с любопытством.

— Прекрасная барыня, — отвечал мальчишка, — ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с чёрной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести её. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром — такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не ограждённое, усеянное деревянными крестами, не осенёнными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища.

— Вот могила старого смотрителя, — сказал мне мальчик, вспрыгнув на грудку песка, в которую врыт был чёрный крест с медным образом.

— И барыня приходила сюда? — спросил я.



Ил. А. В. Ванециана

— Приходила, — отвечал Ванька, — я смотрел на неё издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром — славная барыня!

И я дал мальчишке пятак, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.



1. Перечитайте первый абзац (с. 5—6). Какие предложения по цели высказывания использует А. С. Пушкин? Какую функцию они выполняют в произведении?
2. Найдите предложения, в которых автор выражает своё отношение к главному герою повествования. Чем можно объяснить такое отношение к станционному зрителю?
3. Как звали главного героя? Найдите и прочитайте два портрета зрителя (с. 8—9). Сравните их. Какие изменения произошли в Самсоне Вырине? Почему он так постарел? Что, кроме внешности героя, изменилось на станции?
4. Перечитайте с. 10—12. Какую роль в судьбе Самсона Вырина сыграл Минский? Каким изображён Минский на рисунках (с. 10, 11, 14, 15)? Почему таким разным видят Минского художники?
5. Расскажите, какие попытки найти и вернуть Дуню предпринял отец. Какие черты характера проявились у зрителя?



6. Сравните иллюстрации на с. 15 и с. 17. Глазами какого из героев «увидели» ситуации художники: Вырина, его дочери, Минского или Белкина? Поясните своё мнение.
7. Какой Дуня показана на иллюстрации (с. 17)? Почему художник нарисовал её на фоне пасмурного неба? Что изображено на заднем плане? Как эта иллюстрация связана с теми картинками, которые видел Белкин в доме Вырина (перечитайте их описание)?



8. Как построена повесть? Почему автор возвращает своих героев в прошлое?
9. Сколько рассказчиков в этой повести? Как каждый из них относится к истории Дуни и Минского? Совпадают ли их точки зрения? Что из повести известно о самом Белкине? Почему Пушкин «доверяет» авторство своих произведений именно такому человеку?

Образ «маленького человека»

Повесть «Станционный смотритель» была для своего времени очень необычной. В ней впервые в русской литературе А. С. Пушкин создал образ «маленького человека», который стал одним из самых важных героев в литературе XIX столетия.



«**Маленький человек**» — это литературный герой низкого общественного положения, не наделённый никакими выдающимися способностями, обыкновенный человек.

Маленький человек обычно добродушный и безбидный по характеру. Но обидеть его очень легко. И этим пользуются те, кто стоит выше по социальной лестнице. Маленький человек всей душой желает добиться справедливости, но не может (или боится) получить то, что ему положено.



Понятие «маленький человек» ввёл в употребление критик В. Г. Белинский в 1840 году. Первоначально оно обозначало «простого» человека, не дворянина.

Пушкин первым обратил внимание на то, что у людей низкого социального положения есть душа и серьёзные переживания. Постоянно виноватый, обвиняемый всеми во всех бедах, Самсон Вырин выполняет свои обязанности, никому не жалуясь. Его единственная отрада — дочь Дуня — уезжает с Минским. У отца не оказывается ни сил, ни средств для борьбы за свою Дуню. У Минского более высокое общественное положение, поэтому Вырин смиряется и возвращается из столицы ни с чем.



1. По каким признакам можно определить, является ли герой «маленьким человеком»?



2. Встречались ли вы в других произведениях с героями, которых можно отнести к типу «маленького человека»? Обсудите с одноклассниками, кто ещё из героев и почему может считаться «маленьким человеком».



Николай Васильевич ГОГОЛЬ

(1809—1852)

Н. В. Гоголь родился в селе Сорочинцы, на границе Полтавского и Миргородского уездов.

Отец Н. В. Гоголя был человеком творческим, остроумным, очень любил литературу и театр. Поэтому в доме часто звучали рассказы, сочинялись комедии, ставились спектакли.

Образование мальчик получил в гимназии в Нежине. Николай с друзьями любил составлять эпиграммы на учителей и товарищей, придумывать им остроумные характеристики. Гоголь-гимназист пробовал себя в качестве декоратора и комического актёра в гимназических спектаклях. А также был редактором гимназического рукописного журнала.



В 19-летнем возрасте Н. В. Гоголь переехал в Петербург и поступил на государственную службу. Из-за непривычных условий жизни в северной столице, лишений и разочарований писатель часто в мыслях обращался к родной Украине. Тёплые детские воспоминания воплотились в сборнике «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832). Книга насыщена деталями, которые передают особенности быта, жизненный уклад украинцев. Писатель описывает хорошо знакомый ему мир с душевной теплотой и юмором. Сборник высоко оценил А. С. Пушкин: «Вот настоящая весёлость, искренняя, непринуждённая, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия!..»

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

(В сокращении)

Последний день перед Рождеством прошёл. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать¹ и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Ещё ни одна толпа парубков² не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряживавшихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалил дым и пошёл тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. <...>



Ил. О. Р. Ионайтис

Между тем чёрт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его; но вдруг отдёрнул её назад, как бы обжёгшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдёрнул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки³;

¹ *Колядовать* у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остаётся дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. (Примечание Н. В. Гоголя.)

² *Пáрубок* — на Украине: юноша, парень.

³ *Ля́лька* — здесь: трубка для курения.

наконец поспешно спрятал в карман и как будто ни в чём ни бывало побежал дальше.

В Диканьке никто не слышал, как чёрт украл месяц. <...>

Но какая же была причина решиться чёрту на такое незаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашён дьяком на кутью¹, где будут: голова²; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка, в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и ещё кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха³, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всём селе, останется дома, а к дочке наверное придёт кузнец, силач и детина хоть куда, который чёрту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всём околодке⁴. <...> Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых, и теперь ещё можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалёванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный чёрт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключённые прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем, чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал её на большой деревянной доске, чёрт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на всё, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры чёрт поклялся мстить кузнецу.

¹ *Кутья́* — здесь: каша из пшеницы с мёдом и отваром из сухих фруктов. Кутью ели в канун Рождества.

² *Голова́* — глава села на Украине в XVIII — начале XX века.

³ *Варену́ха* — варёная водка с пряностями (из словаря Н. В. Гоголя).

⁴ *Около́док* — здесь: окрестные селения.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и не лёгок на подъём, к дьяку же от избы не так близко. <...>

Но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нём ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.

Таким-то образом, как только чёрт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашёл дорогу к шинку¹, не только к дьяку. <...>

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица-дочка. Оксане не минуло ещё и семнадцати лет, как во всём почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про неё. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было ещё никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала всё, что про неё говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте² и запаске³, а в каком-нибудь капоте⁴, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступательно было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго ещё принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою.

¹ *Шинóк* — кабак.

² *Плáхта* — нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи (из словаря Н. В. Гоголя).

³ *Запáска* — род шерстяного передника у женщин (из словаря Н. В. Гоголя).

⁴ *Капóт* — женская верхняя домашняя одежда широкого покроя.



Ил. О. Р. Ионайтис

«Что людям вздумалось рас-
славлять, будто я хороша? — го-
ворила она, как бы рассеянно, для
того только, чтобы об чём-нибудь
поболтать с собою. — Лгут люди,
я совсем не хороша».

Но мелькнувшее в зеркале све-
жее, живое в детской юности лицо
с блестящими чёрными очами и
невъразимо приятной усмешкой,
прожигавшей душу, вдруг дока-
зали противное.

«Разве чёрные брови и очи
мои, — продолжала красавица, не
выпуская зеркала, — так хороши,
что уже равных им нет и на свете?

<...> Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость
принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною
мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня на смерть».

— Чудная девка! — прошептал вошедший тихо кузнец. —
И хвастовства у неё мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не
наглядится, и ещё хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? Вы поглядите на меня, —
продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю;
у меня сорочка шита красным шёлком. А какие ленты на
голове! Вам век не увидеть богаче галуна¹! Всё это накупил
мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший
молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в дру-
гую сторону и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной
девушки: и суровость в нём была видна; и сквозь суровость

¹ Галу́н — лента с золотой нитью.

какая-то издёвка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и всё это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать её миллион раз — вот всё, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришёл сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатой? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, моё серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы. <...> А как будет расписан! Хоть весь околосок выходи своими беленькими ножками, не найдёшь такого! По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

— Кто ж тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шёлком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах¹ и отсветилось в очах.

— Позволь и мне сесть возле тебя! — сказал кузнец.

— Садись, — проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство.

— Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! — произнёс ободрённый кузнец и прижал её к себе в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щёки, находившиеся уже на не приметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего тебе ещё хочется? Ему когда мёд, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жёстче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

¹ Лані́ты — щёки.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться. «Не любит она меня, — думал про себя, повеся голову, кузнец. — Ей всё игрушки; а я стою перед нею, как дурак, и очей не свожу с неё. И всё бы стоял перед нею, и век бы не сводил с неё очей! Чудная девка! Чего бы я не дал, чтобы узнать, что у неё на сердце, кого она любит. Но нет, ей и нужды нет ни до кого. Она любит сама собою; мучит меня бедного; а я за грустью не вижу света; а я её так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

— Правда ли, что твоя мать — ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его всё засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо вострепённых жилах, и за всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что мне до матери? Ты у меня мать, и отец, и всё, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моём царстве, всё отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». — «Не хочу, — сказал бы я царю, — ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, — проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. — Однако ж девчата не приходят... Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!

— Как бы не так! С ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!

— Так тебе весело с ними?

— Да уж веселее, чем с тобою. А! Кто-то стукнул, верно, девчата с парубками.

«Чего мне больше ждать? — говорил сам с собою кузнец. — Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как пере-

ржавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я наверное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» прервал его размышления.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сени в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что чёрт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мёрзнувшие руки. Немудрено однако ж и смёрзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то, что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, отставила ногу и, приведши себя в такое положение, как человек, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покато́й горе, и прямо в трубу.

Чёрт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку поглядеть, не назвал ли сын её Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула тёплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле. <...>

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить всё к своему месту; но мешков

не тронула: это Вакула принёс, пусть же сам и вынесет! Чёрт между тем, когда ещё влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замёрзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперёд сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А чёрт улетел снова в трубу, в твёрдой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель, и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, чёрта и кума.

[В метели и темноте они заблудились и пошли в разные стороны искать дорогу. Чуб подошёл к своей хате, из-за метели не узнал её, подумал, что это соседская, а услышав голос Вакулы, решил, что тот зашёл к соседке. Вакула прогнал Чуба, наградив тумаком.]

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка¹, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась, и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Всё осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звёздами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих

¹ *Ладунка* — походная сумка.

девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза ещё живее горят щёки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. <...> Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии и радости, болтала то с той, то с другой и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую весёлость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

— Э, Одарка! — сказала весёлая красавица, оборотившись к одной из девушек. — У тебя новые черевики¹! Ах, какие хорошие! И с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который всё тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевики.

— Не тужи, моя ненаглядная Оксана! — подхватил кузнец, — я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.

— Ты? — сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесёшь те самые, которые носит царица.

— Видишь, каких захотела! — закричала со смехом девица толпа.

— Да! — продолжала гордо красавица. — Будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесёт те самые черевки, которые носит царица, то, вот моё слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выходя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит — ну, бог с ней!

¹ Череві́ки — башмаки (из словаря Н. В. Гоголя).

Будто только на всём свете одна Оксана. Слава богу, девчат много хороших и без неё на селе. Да что? Оксана? С неё никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж!» Всё в нём волновалось, и он думал только об одной Оксане.



Ил. О. Р. Ионайтис

Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шёл и ничего не видал и не участвовал в тех весёлостях, которые когда-то любил более всех.

Чёрт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал её руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал. <...> Солоха была не так жестока, притом же чёрт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот

вечер однако ж думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но всё пошло иначе: чёрт только что представил своё требование, как вдруг послышался стук и голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный чёрт влез в лежавший мешок.

Голова, стряхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошёл к дьяку, потому что поднялась метель; а, увидевши свет в её хате, завернул к ней в намерении провести вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь меня куда-нибудь, — шептал голова. — Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углём; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и с капелюхами в мешок.

Дьяк вошёл, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у неё и не испугался метели. Тут он подошёл к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами её обнажённой, полной руки и произнёс с таким видом, в котором выказывалось и лукавство и самодовольствие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? — И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — отвечала Солоха. <...>

Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

— Ах, боже мой, стороннее лицо! — закричал в испуге дьяк. — Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдёт до отца Кондрата!.. <...>

— Ради бога, добродетельная Солоха, — говорил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина... трин... Стучатся, ей-богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь.

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объёмистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать ещё с полмешка угля.

— Здравствуй, Солоха! — сказал, входя в хату, Чуб. — Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала?

Может быть, я помешал... — продолжал Чуб, показав на лице своём весёлую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. — Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь!.. Может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? — И, восхищённый таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. — Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замёрзло от проклятого мороза... Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... Эк окостенели руки: не расстегну кожуха! Как схватилась вьюга...

— Отвори! — раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

— Стучит кто-то? — сказал остановившийся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.

— Это кузнец! — произнёс, схватясь за капелюхи, Чуб. — Слышишь, Солоха: куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться <...> ему <...>.

Солоха, испугавшись сама, металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъяснить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжёлый мужик и поместил свои намёрзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошёл, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно было, что он весьма не в духе. <...>

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? Их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волосы на голове его прикрутила завязавшая мешок верёвка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

— Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? — говорил кузнец. — Не хочу думать о ней; а всё думается, и как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой чёрт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено ещё что-нибудь кроме угля. Дурень я! Я и позабыл, что теперь мне всё кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углём не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет, — вскричал он, помолчав и ободрившись, — что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. — И бодро взвалил себе на плечи мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. — Взять и этот, — продолжал он, подымая маленький, на дне которого лежал, свернувшись, чёрт. — Тут, кажется, я положил струмент свой. <...>

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены ещё пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. <...> В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девушки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролёт готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! И ещё белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нём вздрогнули; бросивши на землю мешки, так, что

находившийся на дне дьяк заохал от ушиба и голова икнул во всё горло, побрёл он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему слышался голос Оксаны.

Так: это она! Стоит, как царица, и блестит чёрными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеётся. Но она всегда смеётся. Как будто невольно, сам не понимая как, протёрся кузнец сквозь толпу и стал около неё.

— А, Вакула, ты тут! Здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленькой мешок! А черевики, которые носит царица, достал? Достань черевики, выйду замуж! — И засмеявшись убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте.

— Нет, не могу; нет сил больше... — произнёс он наконец. — Но, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Её взгляд, и речи, и всё, ну вот так и жжёт, так и жжёт... Нет, невмочь уже пересилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе¹, и поминай как звали!

Тут решительным шагом пошёл он вперёд, догнал толпу, поровнялся с Оксаною и сказал твёрдым голосом:

— Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивлённою, хотела что-то сказать — но кузнец махнул рукою и убежал.

— Куда, Вакула? — кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

— Прощайте, братцы! — кричал в ответ кузнец. — Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам

¹ Прóлуб — прорубь.

Чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Всё добро, какое найдётся в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

— Он повредился! — говорили парубки.

— Пропадшая душа! — набожно пробормотала проходившая мимо старуха. — Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула, между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я в самом деле бегу? — подумал он, — как будто уже всё пропало. Попробую ещё средство: пойду к запорожцу¹ Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и всё сделает, что захочет. Пойду, ведь душе всё же придётся пропадать!»

При этом чёрт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвёл сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, стряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его, или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может и пятнадцать, как он жил в Диканьке. <...> Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. <...> В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нём нужду.

¹ *Запоро́жец* — казак из Запорожской Сечи, особого казачьего войска, существовавшего до 1775 года.



Ил. О. Р. Ионайтис

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки перед небольшой кадushкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.

[Поражённый Вакула наблюдает, как галушки сами подвигаются ему в рот, а потом, когда миска с галушками исчезла, появились две другие, с варениками и сметаной. Вареники сами прыгали в сметану, переворачивались и скакали в рот Пацюку. Вакула попросил, чтобы запорожец свёл его с чёртом, на что Пацюк сказал, что чёрт у Вакулы за спиною.]

«Поклонюсь ему ещё, пусть растолкует хорошенько... Однако что за чёрт! Ведь сегодня голодная кутья¹; а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж чёрт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом ему на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать, уже хотел перекреститься... Но чёрт, наклонив своё собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

¹ *Голóдная кутья́* — канун Рождества, когда постились: не ели скоромной (мясной и молочной) пищи.

— Это я — твой друг, всё сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, — пискнул он ему в левое ухо. — Оксана будет сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

— Изволь, — сказал он наконец, — за такую цену готов быть твоим!

Чёрт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! — думал он про себя, — теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои малеванья и небылицы, взводимые на чертей. Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут чёрт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аду всё хвостатое племя, как будет беситься хромою чёрт, считавшийся между ними первым на выдумки.

— Ну, Вакула! — пропищал чёрт, всё так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, — ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! — Тут он заложил назад руку — и хватъ чёрта за хвост.

— Вишь, какой шутник! — закричал, смеясь, чёрт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, — а вот это как тебе покажется? — При сём слове он сотворил крест, и чёрт сделался так тих, как ягнёнок. — Постой же, — сказал он, стаскивая его за хвост на землю, — будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан. — Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал чёрт, — всё, что для тебя нужно, всё сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

— А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь, неси, как птица!

— Куда? — произнёс печальный чёрт.

— В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя подымающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри неё что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго? Может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть её первою красавицею на селе. Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдёт минут десять, как он, верно, придёт поглядеть на меня. Я, в самом деле, сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила с своими подругами.

— Пойдите, — сказала одна из них, — кузнец позабыл мешки свои; смотрите: какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам верно счёту нет. Роскошь! Целые праздники можно объедаться.

— Это кузнецовы мешки? — подхватила Оксана. — Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

— Но мы не поднимем их! — закричала вся толпа вдруг, сясь сдвинуть мешки.

— Пойдите, — сказала Оксана, — побежим скорее за санками и отвезём на санках!

И толпа побежала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то, что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы ещё не было народу, то, может быть, он нашёл бы

средство вылезть; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех... Это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезть, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс — сколько работы! Да и капелюхи остались у Солохи. Пусть же лучше девчата довезут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб: в то время, когда девчата побежали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг. <...> Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрёл на мешки и остановился в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! — сказал он, осматриваясь по сторонам, — должно быть тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами¹, и то добре. Хотя бы были тут одни паляницы², и то в шмак³: жидовка за каждую паляницу даёт осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. — Тут взвалил он себе на плечо мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжёл.

— Нет, одному будет тяжело несть, — проговорил он, — а вот, как нарочно, идёт ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, — сказал, остановившись, ткач.

¹ *Гречáник* — хлеб из гречневой муки, *корж* — сухая лепёшка из пшеничной муки, часто с салом (из словаря Н. В. Гоголя).

² *Паляни́ца* — небольшой хлеб, несколько плоский (из словаря Н. В. Гоголя).

³ *И то в шмак* — и то вкусно.

- Куда идёшь?
- А так. Иду куда ноги идут.
- Помоги, человек добрый, мешки снести! Кто-то колядовал, да и кинул посереде дороги. Добром поделимся пополам.
- Мешки? А с чем мешки, с кнышами¹ или паляницами?
- Да, думаю, всего есть.
- Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.
- Куда ж мы понесём его? В шинок? — спросил дорогою ткач.
- Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает ещё, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесём его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.
- Да точно ли нет дома? — спросил осторожный ткач.
- Слава богу, мы не совсем ещё без ума, — сказал кум, — чёрт ли бы принёс меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

[Но кумова жена оказалась дома и захотела завладеть мешками, думая, что мужики наколядовали целого кабана. Используя кочергу как оружие, она несколько раз огрела мужа и ткача. В это время из мешка вылез Чуб, чем перепугал всех. Чтобы выйти из неудобного положения, он пошутил и сказал, что в мешке ещё что-то есть. И тут появляется дьяк. Изумлённый Чуб соображает, что это всё проделки Солохи.]

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», — лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

[В мешке сидел голова. Он решил молчать. Но тут у него усилилась икота, так что он начал громко икать и кашлять. Девчата перепугались и бросились прочь, но в дверях столкнулись с вернувшимся домой Чубом. Он понял, что кто-то сидит в мешке и велел ему вылезать. Вылез смущённый голова. Чуб понял, что и голова побывал у Солохи.]

¹ *Кныш* — небольшой круглый пирожок с начинкой.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел, как муха, под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чёртом. Его забавляло до крайности, как чёрт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а чёрт, думая, что его собираются крестить, летел ещё быстрее. Всё было светло в вышине. Воздух в лёгком серебряном тумане был прозрачен. Всё было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронёсся мимо них, сидя в горшке, колдун; как звёзды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце чёрт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма... Много ещё дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова несло дальше и продолжало своё; кузнец всё летел, и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Чёрт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы.



Ил. О. Р. Ионайтис

Боже мой! Стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырёхэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырёх сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали;

кареты летали; извозчики, форейторы¹ кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, унизанными площадками², и огромные тени их мелькали по стенам, досягая головою труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные, огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. <...>

«Прямо ли ехать к царице?» — «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут, где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; всё бы таки посоветоваться с ними».

— Эй, сатана, полезай ко мне в карман, да ве­ди к запорожцам!



Ил. О. Р. Ионайтис

Чёрт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошёл, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату, но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку. <...>

— Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! вот где увиделись! — сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

¹ *Форейтор* — кучер, сидевший верхом на одной из передних лошадей при запряжке парами одна за другой.

² *Плошка* — сосуд с горючей жидкостью и фитилём для освещения.

[Запорожцы узнали Вакулу. Далее в повести изображена его поездка во дворец с казаками и встреча запорожцев с царицей Екатериной II. Казаки излагают свои претензии и просьбы. А когда она спросила: «Чего хотите вы?», к царским ногам повалился Вакула и попросил такие же черевички, как у неё. Все засмеялись, а царица велела принести её башмаки, но самые дорогие. Когда черевички оказались в руках у Вакулы, он обратился к чёрту, который сидел у него в кармане, чтобы тот поскорее выносил его отсюда. И вдруг очутился за шлагбаумом.

А по Диканьке стали судачить, что Вакула то ли утонул, то ли повесился.]

Оксана смутилась, когда до неё дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб, она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушёл с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдётся такой молодец, как кузнец! Он же так любил её! Он долее всех выносил её капризы! <...> Приутихнув, решалась ни о чём не думать — и всё думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить её. <...>

Ещё быстрее в остальное время ночи нёсся чёрт с кузнецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать чёрта, — постой, приятель, ещё не всё: я ещё не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный чёрт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошёл в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание

за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но однако ж успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнёт бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха ещё не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек¹ с синим верхом, которой не надевал ещё ни разу с того времени, как купил её ещё в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил всё это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошёл к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щёголем и запорожцем. Но ещё больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новёхонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! Не гневись! Вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всём каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то брался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч² пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб ещё больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

¹ *Смúшка* — шкурка ягнёнка.

² *Магарыч* — угощение (обычно с вином).

— Ну, будет с тебя, вставай! Старых людей всегда слушай! Забудем всё, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс, шапка была чудная, пояс также не уступал ей, вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

— Добре! Присылай сватов!

— Ай! — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперила¹ с изумлением и радостью в него очи.

— Погляди, какие я тебе принёс черевики! — сказал Вакула, — те самые, которые носит царица.

— Нет! Нет, мне не нужно черевиков! — говорила она, махая руками и не сводя с него очей, — я и без черевиков... — Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошёл ближе, взял её за руку; красавица и очи потупила. Ещё никогда не была она так чудно хороша. Восхищённый кузнец тихо поцеловал её, и лицо её пуще загорелось, и она стала ещё лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

— А чья это такая размалёванная хата? — спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

— Кузнеца Вакулы! — сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно! Славная работа! — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях с трубками в зубах.

¹ *Вперіть* — резко направить, устремить.

Но ещё больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зелёною краскою с красными цветами. Это однако ж не всё: на стене сбоку, как войдёшь в церковь, намалевал Вакула чёрта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он бач, яка така намалёвана!» И дитя, удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.




1. Выделите самые главные для развития действия фрагменты. Озаглавьте их. Запишите план. Укажите в нём, где находятся завязка, кульминация и развязка.
2. Проследите по тексту, как изменяется место действия. Составьте цепочки событий, которые происходят одновременно, но в разных местах, например: чёрт украл месяц — Чуб ушёл — Оксана одна — Вакула в доме Чуба.
3. Составьте маршрут передвижений одного из героев повести в виде графика (схемы): чёрта, Чуба или Вакулы. Как меняются место и время действия в повести? Всегда ли они соответствуют реальности?
4. Охарактеризуйте внешний облик, особенности речи, поступки героя. Обратите внимание на авторское отношение к герою. Дайте ему свою оценку.



5. Сопоставьте реальные и фантастические события в повести, включая отношения между людьми и нечистой силой. Как и почему Вакуле удалось перехитрить чёрта?
6. Какой изображена Диканька на иллюстрациях (с. 21, 41)? Почему художник решил не передавать сходство с реальностью? Как на иллюстрациях создаётся ощущение неправдоподобности событий, описанных в повести?
7. Узнайте героев повести на иллюстрациях, которые размещены в тексте (с. 24, 30, 36, 41) и на форзаце 1. Что подчёркивает автор в их внешности? Какие цвета преобладают на иллюстрациях? Почему художник использует яркие краски?



8. Выясните значения непонятных простонародных слов. Какие слова пришли из украинского языка? Какова роль таких слов в произведении?
9. Найдите в тексте пейзажные зарисовки. Опишите свои чувства и ощущения, возникающие при чтении этих отрывков. Подготовьте художественный пересказ одного из них.
10. Найдите и рассмотрите иллюстрации А. М. Лаптева к повести Н. В. Гоголя. Сравните их с рисунками, размещёнными на форзаце 1 и на с. 21—42. Что общего в изображении героев повести у разных художников? Какие реальные и фантастические картины вы узнали на иллюстрациях к повести?
11. Посмотрите кинофильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1962) или мультфильм «Ночь перед Рождеством» (1951). Какие эпизоды в экранизации понравились вам больше всего? Какие «находки» режиссёров вызывают интерес?
-  12. Основу музыкальных произведений М. П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка», Н. А. Римского-Корсакова «Майская ночь», П. И. Чайковского «Черевички» составили повести Н. В. Гоголя из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Прослушайте фрагменты одного из музыкальных произведений. Как в музыкальных произведениях передана атмосфера повести Гоголя?

Юмор и сатира в повести

Н. В. Гоголь собирал предания, поверья, пословицы, поговорки, песни русских и украинцев и использовал их в своих повестях. А. С. Пушкин так писал о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «...все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой весёлости, простодушной и вместе лукавой».

Значительную роль в повести Н. В. Гоголя играет фантастика. В образе чёрта писатель высмеивает человеческие пороки: жадность, лицемерие, подлость. Для этого Н. В. Гоголь использует *сатиру*. Она направлена против представителей деревенской верхушки (голова, дьяк), жадного и корыстолюбивого Чуба, его самовлюблённой дочери Оксаны.

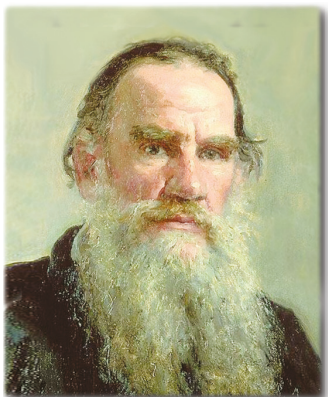
С юмором описывает автор переживания Оксаны, узнавшей, что влюблённый в неё Вакула якобы утонул. Она верит слухам и сомневается в них. Мягким юмором пронизаны приключения Вакулы в доме матери, у Пацюка, в столице и на приёме у царицы. Кузнец находит выход из любой ситуации благодаря смекалке и уму.



1. Внимательно перечитайте смешные эпизоды. Что в них описывается: мысли или поступки героев, странные события или явления? Сделайте вывод о том, как Н. В. Гоголь достигает комического эффекта в повести.



2. В чём близость повести к произведениям устного народного творчества?



Лев Николаевич ТОЛСТОЙ

(1828—1910)

Л. Н. Толстой — потомок двух знатных дворянских родов: графов Толстых и князей Волконских. При этом он увлекался земледелием, понимал и уважал крестьянский труд. В своём имении Ясная Поляна писатель открыл школу для крестьянских детей, для них создал учебники (азбуку, арифметику), сочинял рассказы и сказки.



«Детство» — первое печатное произведение Л. Н. Толстого. Оно было опубликовано Н. А. Некрасовым в журнале «Современник» в 1852 году под псевдонимом «Л. Т.». Начинающий писатель не решился поставить под повестью своё имя, так как служил в это время в действующей армии на Кавказе.

ДЕТСТВО (Избранные главы)

Глава I УЧИТЕЛЬ КАРЛ ИВАНЫЧ

12-го августа 18..., ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопущкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча. Он же, в пёстром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать.



Ил. Н. Панина

«Положим, — думал я, — я маленький, но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьёт мух около Володиной постели? Вон их сколько! Нет, Володя старше меня; а я меньше всех: оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь, — прошептал я, — как бы мне делать неприятности. Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает... противный человек! И халат, и шапочка, и кисточка — какие противные!»

В то время как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошёл к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопущку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа повернулся к нам.

— Auf, Kinder, auf!.. s'ist Zeit. Die Mutter ist schon im Saal¹, — крикнул он добрым немецким голосом, потом подошёл ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иванович сначала понюхал, утёр нос, щёлкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. — Nu, nun, Faulenzer!² — говорил он.

Как я ни боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха.

«Какой он добрый и как нас любит, а я мог так дурно о нём думать!»

Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича, хотелось смеяться и хотелось плакать: нервы были расстроены.

— Ach, lassen Sie³, Карл Иванович! — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек.

Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня: о чём я? Не видел ли я чего дурного во сне?.. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слёз, заставляли их течь ещё обильнее: мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку; теперь, напротив, всё это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты.

¹ Вставать, дети, вставать!.. пора. Мать уже в зале (нем.).

² Ну, ну, лентяй (нем.).

³ Ах, оставьте (нем.).

Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон — будто татап умерла и её несут хоронить. Всё это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слёзы полились уже от другой причины.

Когда Карл Иваныч оставил меня и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слёзы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошёл дядька Николай — маленький, чистенький человечек, всегда серьёзный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Иваныча. Он нёс наши платья и обувь: Володе сапоги, а мне покуда ещё несносные башмаки с бантиками. При нём мне было бы совестно плакать; притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну (гувернантку сестры), так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьёзный Николай, с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил:

— Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться.

Я совсем развеселился.

— Sind Sie bald fertig?¹ — послышался из классной голос Карла Иваныча.

Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слёз. В классной Карл Иваныч был совсем другой человек: он был наставник. Я живо оделся, умылся и, ещё с щёткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов.

Карл Иваныч, с очками на носу и книгой в руке, сидел на своём обычном месте, между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки: одна — наша, детская, другая — Карла Иваныча, собственная. На нашей были всех сортов книги — учебные и неучебные: одни стояли, другие лежали. Только два

¹ Скоро ли вы будете готовы? (нем.).

больших тома «Histoire des voyages»¹, в красных переплётах, чинно упирались в стену; а потом и пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги, — корочки без книг и книги без корочек; всё туда же, бывало, нажмёшь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией² привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на собственной если не была так велика, как на нашей, то была ещё разнообразнее. Я помню из них три: немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту — без переплёта, один том истории Семилетней войны — в пергаменте, прожжённом с одного угла, и полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им своё зрение; но, кроме этих книг и «Северной пчелы», он ничего не читал.

В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это — кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпенок³. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил и кружок этот сам изобрёл и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света.

Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо; в одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел; подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, чёрная круглая табакерка, зелёный футляр для очков, щипцы на лоточке. Всё это так чинно, аккуратно

¹ «Всеобщая история путешествий» (нем.).

² *Рекреация* — здесь: время, свободное от занятий.

³ *Шпенёк* — небольшой шип, стержень.

лежит на своём месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Иваныча совесть чиста и душа покойна.

Бывало, как досыта набегаясь внизу по зале, на цыпочках прокрадёшься наверх, в классную, смотришь — Карл Иваныч сидит себе один на своём кресле и с спокойно-величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставлял его и в такие минуты, когда он не читал: очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо; только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем.

Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик! Нас много, мы играем, нам весело, а он — один-одинёшенек, и никто-то его не приласкает. Правду он говорит, что он сирота. И история его жизни какая ужасная! Я помню, как он рассказывал её Николаю — ужасно быть в его положении!» И так жалко станет, что, бывало, подойдёшь к нему, возьмёшь за руку и скажешь: «Lieber¹ Карл Иваныч!» Он любил, когда я ему говорил так; всегда приласкает, и видно, что растроган.

На другой стене висели ландкарты², все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Иваныча. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки: одна — изрезанная, наша, другая — новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линеования; с другой — чёрная доска, на которой кружками отмечались наши большие проступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени.

Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени

¹ Милый (нем.).

² Ландка́рта — географическая карта.

и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иванович: ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику, — а каково мне?» — и начнёшь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены; но если вдруг упадёт с шумом слишком большой кусок на землю — право, один страх хуже всякого наказания. Оглянёшься на Карла Ивановича, — а он стоит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает.

В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной чёрной клеёнкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетёный частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь чёрную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех; так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: «Когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю?» Досада перейдёт в грусть, и, бог знает отчего и о чём, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки.

Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повёл нас вниз — здороваться с матушкой.



1. Пользуясь словами из текста, опишите учителя. Как к нему относятся в доме Николенки? Какие чувства у вас вызывает Карл Иванович?

2. В чём заключался проступок Николеньки? Найдите и выпишите слова, которые передают изменения его душевного состояния.
3. Каким предстаёт из этой главы Николенька Иртеньев? Как мальчик относится к миру и к тем, кто его окружает?
4. Рассмотрите иллюстрацию (с. 49). Удалось ли художнику передать атмосферу домашнего семейного утра? Каким образом подчёркивается теплота отношения к Николеньке? Если бы вы могли отретушировать этот рисунок, какие цвета и тона выбрали бы?
5. Опираясь на текст главы, расскажите, какое образование получали дети дворян в XIX веке.



Глава VI

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ОХОТЕ

Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчёт линейки, собак и верховых лошадей — всё с величайшею подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала; папá велел оседлать для него охотничью. Это слово — «охотничья лошадь» — как-то странно звучало в ушах тамап: ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя и что она непременно понесёт и убьёт Володю. Несмотря на увещания папа и Володи, который с удивительным молодечеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несёт, бедняжка тамап продолжала твердить, что она всё гулянье будет мучиться.

Обед кончился; большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими жёлтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бежит, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги¹ Гриши, и т. д.;

¹ *Вериги* — железные цепи, которые носили на голом теле для истязания плоти и смирения.

о том же, что мы расстаёмся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидело по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками — кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вёл в поводу моего старинного клепера¹. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться, и одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Нимало не медля, мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками.

День был жаркий. Белые, причудливых форм тучки с утра показались на горизонте; потом всё ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и ни чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться: одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт; другие, над самой головой, превратились в белую прозрачную чешую; одна только чёрная большая туча остановилась на востоке. Карл Иваныч всегда знал, куда какая туча пойдёт; он объявил, что эта туча пойдёт к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная.

Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро, крикнул: «Подавай!» — и, раздвинув ноги, твёрдо стал посередине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли и после небольшого прения² о том, кому на

¹ *Клэпер* — маленькая, быстрая, крепко сложенная лошадь.

² *Прэние* (устар.) — спор.

какой стороне сидеть и за кого держаться (хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться), уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, тапан, указывая на «охотничью лошадь», спросила дрожащим голосом у кучера:

— Это для Владимира Петровича лошадь?

И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении; влез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции¹.

— Собак не извольте раздавить, — сказал мне какой-то охотник.

— Будь покоен: мне не в первый раз, — отвечал я гордо.

Володя сел на «охотничью лошадь», несмотря на твёрдость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая её, несколько раз спросил:

— Смирна ли она?

На лошади же он был очень хорош — точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно, — особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида.

Вот послышались шаги папа на лестнице; выжлятник² подогнал отрыскавших гончих; охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвёл лошадь к крыльцу; собаки своры папа, которые прежде лежали в разных живописных позах около неё, бросились к нему. Вслед за ним, в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками, с одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох.

Папа сел на лошадь, и мы поехали.

¹ *Эволюция* — здесь: маневрирование.

² *Выжлятник* — старший псарь, который водит стаю гончих, напускает и сзывает её.



1. Как передана в главе семейная атмосфера, в которой рос Николенка?
2. Понаблюдайте за поведением взрослых перед охотой: какие приказания отдаёт папа, о чём беспокоится мама, почему обращаются к Карлу Иванычу? Какие черты проявляются в каждом из героев?
3. О чём думает мальчик перед охотой? Как показана его детская непосредственность? Чем гордится мальчик?

Глава VII

ОХОТА

Доезжачий¹, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади, в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной и свирепой наружности этого человека скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пёстрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником², приговаривая: «В кучу!» Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле.

Хлебная уборка была во всём разгаре. Необозримое блестяще-жёлтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдалённым, таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Всё поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кой-где

¹ *Доезжачий* — служитель, обучающий гончих собак; в его ведении псари.

² *Арапник* — охотничий кнут для собак.

на выжатой полосе согнутая спина жницы, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жнивью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому, раскалённому полю. Староста, в сапогах и армяке внакидку, с бирками в руке, издалека заметив папа, снял свою поярковую¹ шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал папа, шла лёгкой, игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на неё. Две борзые собаки, напряжённо загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жнивью за ногами лошади; Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей и телег, весёлый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светло-жёлтому жнивью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жнивью, — всё это я видел, слышал и чувствовал.

Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и, сверх всякого ожидания, ещё телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись: самовар, кадка с мороженной формой и ещё кой-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться: это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением.

¹ *Поярковый* — сделанный из шерсти ягнёнка.

Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от папа подробное наставление, как равняться и куда выходить (впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему), разомкнул собак, не спеша второчил смычки¹, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми берёзками. Разомкнутые гончие прежде всего маханиями хвостов выразили своё удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принохиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны.

— Есть у тебя платок? — спросил папа.

Я вынул из кармана и показал ему.

— Ну, так возьми на платок эту серую собаку...

— Жирана? — сказал я с видом знатока.

— Да, и беги по дороге. Когда придёт полянка, остановись и смотри: ко мне без зайца не приходит!

Я обмотал платком мохнатую шею Жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед:

— Скорей, скорей, а то опоздаешь.

Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью² охотников. У меня не доставало сил стащить его с места, и я начинал кричать: «Ату! Ату!» Тогда Жиран рвался так сильно, что я насилу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лёг на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение моё, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперёд действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос Турки громче и одушевлённое раздался по лесу; гончая взвизгивала, и голос её слышался чаще и чаще; к нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвёртый...

¹ *Второчить смычки* — пристегнуть ошейники позади седла.

² *Порсканье* — натравливание гончих на зверя.

Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее и, наконец, слились в один звонкий, залиvistый гул. Остров¹ был голосистый, и гончие варили варом².

Услыхав это, я замер на своём месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался; пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряжённости было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня; зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С Жираном было то же самое: сначала он рвался и взвизгивал, потом лёг подле меня, положил морду мне на колени и успокоился.

Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой, сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудями, пересохшими, обомшальными хворостинками, жёлто-зелёным мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелёными травками кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком³. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под неё, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечён бабочкой с жёлтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на неё

¹ *О́стров* — лесистое или болотистое место, окружённое полями, самое удобное место для охоты с гончими.

² *Вари́ть ва́ром* — скакать частыми скачками.

³ *Порожняко́м* — без клади.

внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли её пригрело, или она брала сок из этой травки, — только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на неё.

Вдруг Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я всё забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал.

Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не выдержал) и, презрительно взглянув на меня, сказал только: «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано! Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло.

Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя по ляжкам:

— Боже мой, что я наделал!

Я слышал, как гончие погнались дальше, как застучали на другой стороне острова, отбили зайца и как Турка в свой огромный рог вызывал собак, — но всё не трогался с места...



1. Что привлекло внимание мальчика, когда ему нужно было подстеречь зайца? Каков внутренний мир ребёнка?
2. Какую ошибку и почему совершил мальчик, когда увидел зайца? Почему слова Турки его расстроили?
3. На форзаце 1 найдите иллюстрации к главе «Охота». Подберите из текста соответствующие им фрагменты. Как на рисунках передано настроение героев?



4. В каких ещё изученных произведениях упоминалась охота? Сравните описание охоты в повести «Дубровский» А. С. Пушкина

и в главе VII. Почему различаются эти описания? Как влияет на восприятие событий возраст героя?



5. Пользуясь дополнительными источниками, узнайте, какое место занимала охота в жизни дворян в XIX веке. Подготовьте небольшое сообщение об этом.

Глава XIII

НАТАЛЬЯ САВИШНА

В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезном платье босоногая, но весёлая, толстая и краснощёкая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца её, кларнетиста Саввы, дед мой взял её в верх — находиться в числе женской прислуги бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью нрава и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые сношения¹ с Натальей, пленили её грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка принял её желание за неблагодарность, прогневался и сослал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Возвратившись в затрапезку² из изгнания, она явилась к дедушке, упала ему в ноги и просила возвратить ей милость, ласку и забыть ту дурь, которая на неё нашла было и которая, она клялась, уже больше не возвратится. И действительно, она сдержала своё слово.

¹ *Сношѣние* — здесь: общение.

² *Затрапѣзка* — повседневная, будничная одежда.

С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец; весь запас любви, который в ней хранился, она перенесла на барышню свою.

Когда подле матушки заменила её гувернантка, она получила ключи от кладовой, и ей на руки сданы были бельё и вся провизия. Новые обязанности эти она исполняла с тем же усердием и любовью. Она вся жила в барском добре, во всём видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать.



Ил. Н. Панина

Когда матан вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за её двадцатилетние труды и привязанность, она позвала её к себе и, выразив в самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь, вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана вольная Наталье Савишне, и сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда будет получать ежегодную пенсию в триста рублей. Наталья Савишна молча выслушала всё это, потом, взяв в

руки документ, злобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, матан немного погодя вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами носовой платок, и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки изорванной вольной.

— Что с вами, голубушка Наталья Савишна? — спросила матан, взяв её за руку.

— Ничего, матушка, — отвечала она, — должно быть, я вам чем-нибудь противна, что вы меня со двора гоните... Что ж, я пойду.

Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слёз, хотела уйти из комнаты. Матан удержала её, обняла, и они обе расплакались.

С тех пор как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, её любовь и ласки; но теперь только умею ценить их, — тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое, чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе: вся жизнь её была любовь и самопожертвование. Я так привык к её бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, чтобы это могло быть иначе, нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов: а что, счастлива ли она? Довольна ли?

Бывало, под предлогом необходимой надобности, прибежишь от урока в её комнату, усядешься и начинаешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь её присутствием. Всегда она бывала чем-нибудь занята: или вязала чулок, или рылась в сундуках, которыми была наполнена её комната, или записывала бельё — и, слушая всякий вздор, который я говорил, «как, когда я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Карла Иваныча из Саксонии» и т. д., она приговаривала: «Да, мой батюшка, да». Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого изнутри — как теперь помню — были наклеены крашеное изображение какого-то гусара, картинка с помадной баночки и рисунок Володи, — вынимала из этого сундука куренье, зажигала его, и помахивая, говаривала:

— Это, батюшка, ещё очаковское куренье. Когда ваш покойный дедушка — царство небесное — под турку ходили, так оттуда ещё привезли. Вот уж последний кусочек остался, — прибавляла она со вздохом.

В сундуках, которыми была наполнена её комната, было решительно всё. Что бы ни понадобилось, обыкновенно говаривали: «Надо спросить у Натальи Савишны», — и действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала: «Вот и хорошо, что припрятала». В сундуках этих были тысячи таких предметов, о которых никто в доме, кроме её, не знал и не заботился.

Один раз я на неё рассердился. Вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть.

— Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика, — сказала татап.

Наталья Савишна вошла и, увидав лужу, которую я сделал, покачала головой; потом татап сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла.

После обеда я в самом весёлом расположении духа, прыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна с скатертью в руке, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая: «Не пачкай скатертей, не пачкай скатертей!» Меня так это обидело, что я разревелся от злости.

«Как! — говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлёбываясь от слёз. — Наталья Савишна, просто Наталья говорит мне ты и ещё бьёт меня по лицу мокрой скатертью, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно!»

Когда Наталья Савишна увидала, что я распустил слюни, она тотчас же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить дерзкой Наталье за нанесённое мне оскорбление.

Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, робко подошла ко мне и начала увещевать:

— Полноте, мой батюшка, не плачьте... простите меня, дуру... я виновата... уж вы меня простите, мой голубчик... вот вам.

Она вынула из-под платка корнет¹, сделанный из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня не доставало сил взглянуть в лицо доброй старушке; я, отвернувшись, принял подарок, и слёзы потекли ещё обильнее, но уже не от злости, а от любви и стыда.



1. Какие обязанности выполняла в доме Наталья Савишна? Можно ли назвать её «должности» карьерой — повышением по службе? Благодаря каким качествам шло «продвижение по службе» Натальи Савишны?
2. В чём были смысл и цель всей жизни для Натальи Савишны?
3. Устно опишите внешность Натальи Савишны, используя слова из текста.
4. Рассмотрите иллюстрации на с. 64 и на форзаце 1. Какие эпизоды из жизни Натальи Савишны они отражают? Сравните чувства, которые вызывает облик героини в каждом из них.
5. Какое влияние на Николеньку оказала «чистая душа» Натальи Савишны?



Глава XIX

ИВИНЫ

— Володя! Володя! Ивины! — закричал я, увидев в окно трёх мальчиков в синих бекешах² с бобровыми воротниками, которые, следуя за молодым гувернёром-щёголем, переходили с противоположного тротуара к нашему дому.

Ивины приходились нам родственниками и были почти одних с нами лет; вскоре после приезда нашего в Москву мы познакомились и сошлись с ними.

Второй Ивин — Серёжа — был смуглый, курчавый мальчик, со вздёрнутым твёрдым носиком, очень свежими, красными губами, которые редко совершенно закрывали немного

¹ *Корнёт* — бумажный свёрток, кулёк.

² *Бекéша* — тёплое пальто.

выдавшийся верхний ряд белых зубов, тёмно-голубыми прекрасными глазами и необыкновенно бойким выражением лица. Он никогда не улыбался, но или смотрел совершенно серьёзно, или от души смеялся своим звонким, отчётливым и чрезвычайно увлекательным смехом. Его оригинальная красота поразила меня с первого взгляда. Я почувствовал к нему непреодолимое влечение. Видеть его было достаточно для моего счастья; и одно время все силы души моей были сосредоточены в этом желании; когда мне случалось провести дня три или четыре, не видав его, я начинал скучать, и мне становилось грустно до слёз. Все мечты мои, во сне и наяву, были о нём: ложась спать, я желал, чтобы он мне приснился; закрывая глаза, я видел его перед собою и лелеял этот призрак, как лучшее наслаждение. Никому в мире я не решился бы поверить этого чувства, так много я дорожил им. Может быть, потому, что ему надоедало чувствовать беспрестанно устремлёнными на него мои беспокойные глаза, или просто, не чувствуя ко мне никакой симпатии, он заметно больше любил играть и говорить с Володей, чем со мною; но я всё-таки был доволен, ничего не желал, ничего не требовал и всем готов был для него пожертвовать. Кроме страстного влечения, которое он внушал мне, присутствие его возбуждало во мне в не менее сильной степени другое чувство — страх огорчить его, оскорбить чем-нибудь, не понравиться ему: может быть, потому, что лицо его имело надменное выражение, или потому, что, презирая свою наружность, я слишком много ценил в других преимущества красоты, или, что вернее всего, потому, что это есть неприменный признак любви, я чувствовал к нему столько же страху, сколько и любви. В первый раз, как Серёжа заговорил со мной, я до того растерялся от такого неожиданного счастья, что побледнел, покраснел и ничего не мог отвечать ему. У него была дурная привычка, когда он задумывался, останавливать глаза на одной точке и беспрестанно мигать, подёргивая при этом носом и бровями. Все находили, что эта

привычка очень портит его, но я находил её до того милою, что невольно привык делать то же самое, и чрез несколько дней после моего с ним знакомства бабушка спросила: не болят ли у меня глаза, что я ими хлопаю, как филин. Между нами никогда не было сказано ни слова о любви; но он чувствовал свою власть надо мною и бессознательно, но тиранически употреблял её в наших детских отношениях; я же, как ни желал высказать ему всё, что было у меня на душе, слишком боялся его, чтобы решиться на откровенность; старался казаться равнодушным и безропотно подчинялся ему. Иногда влияние его казалось мне тяжёлым, несносным; но выйти из-под него было не в моей власти.

Мне грустно вспомнить об этом свежем, прекрасном чувстве бескорыстной и беспредельной любви, которое так и умерло, не излившись и не найдя сочувствия.

Странно, отчего, когда я был ребёнком, я старался быть похожим на большого, а с тех пор, как перестал быть им, часто желал быть похожим на него. Сколько раз это желание — не быть похожим на маленького, в моих отношениях с Серёжей, останавливало чувство, готовое излиться, и заставляло лицемерить. Я не только не смел поцеловать его, чего мне иногда очень хотелось, взять его за руку, сказать, как я рад его видеть, но не смел даже называть его Серёжа, а непременно Сергей: так уж было заведено у нас. Каждое выражение чувствительности доказывало ребячество и то, что тот, кто позволял себе его, был ещё мальчишка. Не пройдя ещё через те горькие испытания, которые доводят взрослых до осторожности и холодности в отношениях, мы лишали себя чистых наслаждений нежной детской привязанности по одному только странному желанию подражать большим.

Ещё в лакейской встретил я Ивиных, поздоровался с ними и опрометью пустился к бабушке: я объявил ей о том, что приехали Ивины, с таким выражением, как будто это известие должно было вполне осчастливить её. Потом, не спуская глаз

с Серёжи, я последовал за ним в гостиную и следил за всеми его движениями. В то время как бабушка сказала, что он очень вырос, и устремила на него свои пронизательные глаза, я испытывал то чувство страха и надежды, которое должен испытывать художник, ожидая приговора над своим произведением от уважаемого судьи.

Молодой гувернёр Ивиных, Herr Frost, с позволения бабушки сошёл с нами в палисадник, сел на зелёную скамью, живописно сложил ноги, поставив между ними палку с бронзовым набалдашником, и с видом человека, очень довольного своими поступками, закурил сигару.

Herr Frost был немец, но немец совершенно не того покроя, как наш добрый Карл Иваныч: во-первых, он правильно говорил по-русски, с дурным выговором — по-французски и пользовался вообще, в особенности между дамами, репутацией очень учёного человека; во-вторых, он носил рыжие усы, большую рубиновую булавку в чёрном атласном шарфе, концы которого были просунуты под помочи¹, и светло-голубые панталоны с отливом и со штрипками²; в-третьих, он был молод, имел красивую, самодовольную наружность и необыкновенно видные, мускулистые ноги. Заметно было, что он особенно дорожил этим последним преимуществом: считал его действие неотразимым в отношении особ женского пола и, должно быть, с этой целью старался выставлять свои ноги на самое видное место и, стоя или сидя на месте, всегда приводил в движение свои икры. Это был тип молодого русского немца, который хочет быть молодцом и волокитой.

В палисаднике было очень весело. Игра в разбойники шла как нельзя лучше; но одно обстоятельство чуть-чуть не расстроило всего. Серёжа был разбойник: погнавшись за проезжающими, он споткнулся и на всём бегу ударился коленом

¹ *По́мочи* — ремни для поддержки чего-либо.

² *Штри́пка* — петля, пришитая к панталонам, для сохранения их в натянутой форме.

о дерево, так сильно, что я думал, он расшибётся вдребезги. Несмотря на то, что я был жандарм и моя обязанность состояла в том, чтобы ловить его, я подошёл и с участием стал спрашивать, больно ли ему. Серёжа рассердился на меня: сжал кулаки, топнул ногой и голосом, который ясно доказывал, что он очень больно ушибся, закричал мне:

— Ну, что это? После этого игры никакой нет! Ну, что ж ты меня не ловишь? Что ж ты меня не ловишь? — повторял он несколько раз, искоса поглядывая на Володю и старшего Ивина, которые, представляя проезжающих, припрыгивая, бежали по дорожке, и вдруг взвизгнул и с громким смехом бросился ловить их.

Не могу передать, как поразил и пленил меня этот геройский поступок: несмотря на страшную боль, он не только не заплакал, но не показал и виду, что ему больно, и ни на минуту не забыл игры.

Вскоре после этого, когда к нашей компании присоединился ещё Иленька Грап и мы до обеда отправились наверх, Серёжа имел случай ещё больше пленить и поразить меня своим удивительным мужеством и твёрдостью характера.

Иленька Грап был сын бедного иностранца, который когда-то жил у моего деда, был чем-то ему обязан и почитал теперь своим неперенным долгом присылать очень часто к нам своего сына. Если он полагал, что знакомство с нами может доставить его сыну какую-нибудь честь или удовольствие, то он совершенно ошибался в этом отношении, потому что мы не только не были дружны с Иленькой, но обращали на него внимание только тогда, когда хотели посмеяться над ним. Иленька Грап был мальчик лет тринадцати, худой, высокий, бледный, с птичьей рожицей и добродушно-покорным выражением. Он был очень бедно одет, но зато всегда напoмажен так обильно, что мы уверяли, будто у Грапа в солнечный день помада тает на голове и течёт под курточку. Когда я теперь вспоминаю его, я нахожу, что он был очень услужливый, тихий

и добрый мальчик; тогда же он мне казался таким презренным существом, о котором не стоило ни жалеть, ни даже думать.

Когда игра в разбойники прекратилась, мы пошли наверх, начали возиться и щеголять друг перед другом разными гимнастическими штуками. Иленька с робкой улыбкой удивления поглядывал на нас, и когда ему предлагали попробовать то же, отказывался, говоря, что у него совсем нет силы. Серёжа был удивительно мил; он снял курточку — лицо и глаза его разгорелись, — он беспрестанно хохотал и затевал новые шалости: перепрыгивал через три стула, поставленные рядом, через всю комнату перекатывался колесом, становился кверху ногами на лексиконы Татищева¹, положенные им в виде пьедестала на середину комнаты, и при этом выделял ногами такие уморительные штуки, что невозможно было удержаться от смеха. После этой последней штуки он задумался, помигал глазами и вдруг с совершенно серьёзным лицом подошёл к Иленьке: «Попробуйте сделать это; право, это нетрудно». Грап, заметив, что общее внимание обращено на него, покраснел и чуть слышным голосом уверял, что он никак не может этого сделать.

— Да что ж в самом деле, отчего он ничего не хочет показать? Что он за девочка... непременно надо, чтобы он стал на голову!

И Серёжа взял его за руку.

— Непременно, непременно на голову! — закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел, схватили его за руку и повлекли к лексиконам.

— Пустите меня, я сам! Курточку разорвёте! — кричала несчастная жертва. Но эти крики отчаяния ещё более воодушевляли нас; мы помирали со смеху; зелёная курточка трещала на всех швах.

¹ *Лексиконы Татищева* — составленный И. И. Татищевым «Полный французско-русский словарь».

Володя и старший Ивин нагнули ему голову и поставили её на лексиконы; я и Серёжа схватили бедного мальчика за тоненькие ноги, которыми он махал в разные стороны, засучили ему панталоны до колен и с громким смехом вскинули их кверху; младший Ивин поддерживал равновесие всего туловища.

Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали, и в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжёлое дыхание несчастного Грапа. В эту минуту я не совсем был убеждён, что всё это очень смешно и весело.

— Вот теперь молодец, — сказал Серёжа, хлопнув его рукою.

Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений он ударил каблуком по глазу Серёжу так больно, что Серёжа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольные слёзы, и из всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное, грохнулся на землю и от слёз мог только выговорить:

— За что вы меня тираните?

Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами, из-под которых видны были нечищенные голенища, поразила нас; мы все молчали и старались принуждённо улыбаться.

Первый опомнился Серёжа.

— Вот баба, нюня, — сказал он, слегка трогая его ногою, — с ним шутить нельзя... Ну, полно, вставайте.

— Я вам сказал, что ты негодный мальчишка, — злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.

— А-а! Каблуками бить да ещё браниться! — закричал Серёжа, схватив в руки лексикон и взмахнув над головою несчастного, который и не думал защищаться, а только закрывал руками голову.

— Вот тебе! Вот тебе!.. Бросим его, коли он шуток не понимает... Пойдёмте вниз, — сказал Серёжа, неестественно засмеявшись.



Ил. Н. Панина

Я с участием посмотрел на бедняжку, который, лёжа на полу и спрятав лицо в лексиконах, плакал так, что, казалось, ещё немного, и он умрёт от конвульсий, которые дёргали всё его тело.

— Э, Сергей! — сказал я ему, — зачем ты это сделал?

— Вот хорошо!.. Я не заплакал, небось, сегодня, как разбил себе ногу почти до кости.

«Да, это правда, — подумал я. — Иленька больше ничего как плакса, а вот Серёжа — так это молодец... Что это за молодец!..»



Я не сообразил того, что бедняжка плакал, верно, не столько от физической боли, сколько от той мысли, что пять мальчиков, которые, может быть, нравились ему, без всякой причины, все согласились ненавидеть и гнать его.

Я решительно не могу объяснить себе жестокости своего поступка. Как я не подошёл к нему, не защитил и не утешил его? Куда девалось чувство сострадания, заставлявшее меня, бывало, плакать навзрыд при виде выброшенного из гнезда галчонка или щенка, которого несут, чтобы кинуть за забор, или курицы, которую несёт поварёнок для супа?

Неужели это прекрасное чувство было заглушено во мне любовью к Серёже и желанием казаться перед ним таким же молодцом, как и он сам? Незавидные же были эти любовь и желание казаться молодцом! Они произвели единственные тёмные пятна на страницах моих детских воспоминаний.



1. Как автор знакомит читателя с Ивиными? Какие приёмы он использует при этом?
2. Прочитайте портрет Серёжи Ивина (с. 67—68). Чем он так привлекал Николеньку Иртеньева? Какие чувства испытывает Николенька при общении с Серёжей? Подтвердите свой ответ текстом.

3. Каков был характер Серёжи? Как он относился к другим людям? В каком поступке проявляются его жестокость, капризность, избалованность?
4. Каков был Иленька Грап? Перечитайте его описание (с. 71—72). Почему он оказался в одной компании с Ивиным и Иртеньевым? За что его дразнили другие мальчики? Как характеризует детей такое отношение к Иленьке?
5. Рассмотрите иллюстрацию (с. 74). Каким изображён Николенька? По каким деталям вы догадались, что это именно он? Как художник выразил своё отношение к Серёже? Почему Иленька Грап лежит, не поднимая головы?
-  6. Какие мысли вызвал у Николеньки описанный в главе случай? Где в этом эпизоде проявляется голос автора — взрослого человека, дающего оценку давним событиям?
7. Почему историю из главы «Ивины» Л. Н. Толстой назвал «тёмным пятном на страницах детских воспоминаний»? Чему учит эта глава?
-  8. На основании всех прочитанных глав расскажите, чем наполнена жизнь Николеньки Иртеньева, какие события его занимают, беспокоят, радуют.
9. В XIX веке средства массовой информации были иными. Люди общались с помощью писем. Их сочиняли долго и подробно передавали все события. Перескажите события одной из прочитанных глав, используя форму письма.

Автобиографическая повесть

«Детство» — первая часть трилогии Л. Н. Толстого о взрослении человека.



Трилогией называются три произведения, связанные общим замыслом и героями.

Писатель задумывал рассказать о «четырёх эпохах развития», но остановился на трёх: «Детство», «Отрочество»,

«Юность». Часть «Молодость» так и не была написана. Особенной чертой трилогии Л. Н. Толстого является автобиографичность.



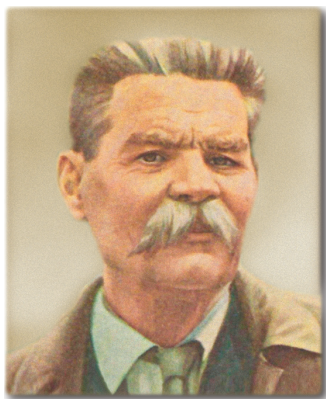
Автобиографичность — привнесение в произведение событий, имён, героев, переживаний, свойственных самому автору.

Многие факты, описанные в книге, взяты из жизни самого автора. Известно, что Л. Н. Толстой во всём равнялся на брата, рано потерял маму. Его учителем был немец Фёдор Иванович Рессель, изображённый в произведении под именем Карла Иваныча.

Автобиографичны в повести не только факты и события. Писатель передавал своим героям собственные мысли, поэтому Николенька в произведении часто рассуждает не как ребёнок, а как взрослый человек. Чтобы показать состояние своего героя, автор прибегает к *внутреннему монологу* — Николенька не произносит вслух собственные сомнения и оценки. Он переживает их в своей душе. Впервые в русской литературе Л. Н. Толстой показал «диалектику души» (Н. Г. Чернышевский) — мельчайшие изменения чувств, перетекание одной эмоции в другую.



1. Как вы думаете, кому — ребёнку Николеньке или взрослому автору повести — принадлежат слова: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений»?
2. Найдите ещё фрагменты в повести, где слышится голос ребёнка, и взрослого. Подумайте, как автору удалось их соединить.
3. Рассмотрите на форзаце 1 портрет Л. Н. Толстого в детстве и иллюстрации разных художников к повести. Почему Николенька внешне похож на писателя в детстве? Все ли художники стремились подчеркнуть это портретное сходство?



Максим ГОРЬКИЙ

(1868—1936)

«В русской литературе явился какой-то самовольный писатель, самоучка... За его рассказами стояла легенда о его жизни. ...Этот человек с простым лицом рабочего и в простой блузе не напоминал никого из русских писателей.

Публика не давала ему прохода... Репортёры гонялись за Горьким по пятам», — писал о Максиме Горьком литературовед Б. М. Эйхенбаум.



Есть сведения о том, что Горький давно хотел поделиться с читателями историей своего взросления. Однако работа над произведением началась только после 1910 года. Основная часть трилогии («Детство», «В людях», «Мои университеты») была написана в 1912—1913 годах. Сначала «Детство» было опубликовано в Берлине (1914), а затем и в России (1915).

ДЕТСТВО

Сыну моему посвящаю.

I

В полутёмной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его весёлые глаза плотно прикрыты чёрными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами.

Мать, полуголая, в красной юбке, стоит на коленях, зачёсывая длинные, мягкие волосы отца со лба на затылок чёрной гребёнкой, которой я любил перепиливать корки арбузов; мать непрерывно говорит что-то густым, хрипящим голосом, её серые глаза опухли и словно тают, стекая крупными каплями слёз.

Меня держит за руку бабушка — круглая, большеголовая, с огромными глазами и смешным рыхлым носом; она вся чёрная, мягкая и удивительно интересная; она тоже плачет, как-то особенно и хорошо подпевая матери, дрожит вся и дёргает меня, толкая к отцу; я упираюсь, прячусь за неё; мне боязно и неловко.

Я никогда ещё не видал, чтобы большие плакали, и не понимал слов, неоднократно сказанных бабушкой:

— Прощайся с тятёй-то, никогда уж не увидишь его, помер он, голубчик, не в срок, не в свой час...

Я был тяжело болен, — только что встал на ноги; во время болезни — я это хорошо помню — отец весело возился со мною, потом он вдруг исчез, и его заменила бабушка, странный человек.

— Ты откуда пришла? — спросил я её.

Она ответила:

— Сверху, из Нижнего, да не пришла, а приехала! По воде-то не ходят, шиш!

Это было смешно и непонятно: наверху, в доме, жили бородатые, крашенные персияне, а в подвале старый, жёлтый калмык продавал овчины. По лестнице можно съехать верхом на перилах или, когда упадёшь, скатиться кувырком, это я знал хорошо. И при чём тут вода? Всё неверно и забавно спутано.

— А отчего я шиш?

— Оттого, что шумишь, — сказала она, тоже смеясь.

Она говорила ласково, весело, складно. Я с первого же дня подружился с нею, и теперь мне хочется, чтобы она скорее ушла со мною из этой комнаты.

Меня подавляет мать; её слёзы и вой зажгли во мне новое, тревожное чувство. Я впервые вижу её такою, — она была

всегда строгая, говорила мало; она чистая, гладкая и большая, как лошадь; у неё жёсткое тело и страшно сильные руки. А сейчас она вся как-то неприятно вспухла и растрёпана, всё на ней разорвалось; волосы, лежавшие на голове аккуратно, большою светлой шапкой, рассыпались по голому плечу, упали на лицо, а половина их, заплетённая в косу, болтается, задевая уснувшее отцово лицо. Я уже давно стою в комнате, но она ни разу не взглянула на меня, — причёсывает отца и всё рычит, захлёбываясь слезами.

В дверь заглядывают чёрные мужики и солдат-будочник. Он сердито кричит:

— Скорее убирайте!

Окно занавешено тёмной шалью; она вздувается, как парус. Однажды отец катал меня на лодке с парусом. Вдруг ударил гром. Отец засмеялся, крепко сжал меня коленями и крикнул:

— Ничего не бойся, Лук!

Вдруг мать тяжело взметнулась с пола, тотчас снова осела, опрокинулась на спину, разметав волосы по полу; её слепое, белое лицо посинело, и, оскалив зубы, как отец, она сказала страшным голосом:

— Дверь затворите... Алексея — вон!

Оттолкнув меня, бабушка бросилась к двери, закричала:

— Родимые, не бойтесь, не троньте, уйдите Христа ради! Это не холера, роды пришли, помилуйте, батюшки!

Я спрятался в тёмный угол за сундук и оттуда смотрел, как мать извивается по полу, охая и скрипя зубами, а бабушка, ползая вокруг, говорит ласково и радостно:

— Во имя Отца и Сына! Потерпи, Варюша!.. Пресвятая Мати Божия, заступница.

Мне страшно; они возятся на полу около отца, задевают его, стонут и кричат, а он неподвижен и точно смеётся. Это длилось долго — возня на полу; не однажды мать вставала на ноги и снова падала; бабушка выкатывалась из комнаты, как большой чёрный мягкий шар; потом вдруг во тьме закричал ребёнок.

— Слава тебе, Господи! — сказала бабушка. — Мальчик! И зажгла свечу.

Я, должно быть, заснул в углу, — ничего не помню больше.

Второй оттиск в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на жёлтую крышку гроба.

У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает тёплый дождь, мелкий, как бисер.

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно.

— Отойди, Лёня, — сказала бабушка, взяв меня за плечо; я выскользнул из-под её руки, не хотелось уходить.

— Экой ты, господи, — пожаловалась бабушка, не то на меня, не то на Бога, и долго стояла молча, опустив голову; уже могила сровнялась с землёй, а она всё ещё стоит.

Мужики гулко шлёпали лопатами по земле; налетел ветер и прогнал, унёс дождь. Бабушка взяла меня за руку и повела к далёкой церкви, среди множества тёмных крестов.

— Ты что не поплачешь? — спросила она, когда вышла за ограду. Поплакал бы!

— Не хочется, — сказал я.

— Ну, не хочется, так и не надо, — тихонько выговорила она.

Всё это было удивительно: я плакал редко и только от обиды, не от боли; отец всегда смеялся над моими слезами, а мать кричала:

— Не смей плакать!

Потом мы ехали по широкой, очень грязной улице на дрожках, среди тёмно-красных домов; я спросил бабушку:

— А лягушки не вылезут?

— Нет, уж не вылезут, — ответила она. — Бог с ними!

Ни отец, ни мать не произносили так часто и родственно имя Божие.

Через несколько дней я, бабушка и мать ехали на пароходе, в маленькой каюте; новорождённый брат мой Максим умер и лежал на столе в углу, завёрнутый в белое, спеленатый красною тесьмой.

Примостившись на узлах и сундуках, я смотрю в окно, выпуклое и круглое, точно глаз коня; за мокрым стеклом бесконечно льётся мутная, пенная вода. Порою она, вскидываясь, лижет стекло. Я невольно прыгаю на пол.

— Не бойся, — говорит бабушка и, легко приподняв меня мягкими руками, снова ставит на узлы.

Над водою — серый, мокрый туман; далеко где-то является тёмная земля и снова исчезает в тумане и воде. Всё вокруг трясётся. Только мать, закинув руки за голову, стоит, прислоняясь к стене, твёрдо и неподвижно. Лицо у неё тёмное, железное и слепое, глаза крепко закрыты, она всё время молчит, и вся какая-то другая, новая, даже платье на ней незнакомо мне.

Бабушка не однажды говорила ей тихо:

— Варя, ты бы поела чего, маленько, а?

Она молчит и неподвижна.

Бабушка говорит со мною шёпотом, а с матерью — громче, но как-то осторожно, робко и очень мало. Мне кажется, что она боится матери. Это понятно мне и очень сближает с бабушкой.

— Саратов, — неожиданно громко и сердито сказала мать. — Где же матрос?

Вот и слова у неё странные, чужие: Саратов, матрос.

Вошёл широкий седой человек, одетый в синее, принёс маленький ящик. Бабушка взяла его и стала укладывать тело брата, уложила и понесла к двери на вытянутых руках, но — толстая — она могла пройти в узенькую дверь каюты только боком и смешно замялась перед нею.

— Эх, мамаша, — крикнула мать, отняла у неё гроб, и обе они исчезли, а я остался в каюте, разглядывая синего мужика.

— Что, отошёл братишка-то? — сказал он, наклонясь ко мне.

— Ты кто?

— Матрос.

— А Саратов — кто?

— Город. Гляди в окно, вот он!

За окном двигалась земля; тёмная, обрывистая, она курилась туманом, напоминая большой кусок хлеба, только что отрезанный от каравая.

— А куда бабушка ушла?

— Внука хоронить.

— Его в землю зароят?

— А как же? Зароят.

Я рассказал матросу, как зарыли живых лягушек, хороня отца. Он поднял меня на руки, тесно прижал к себе и поцеловал.

— Эх, брат, ничего ты ещё не понимаешь! — сказал он. — Лягушек жалеть не надо, господь с ними! Мать пожалей, — вон как её горе ушибло!

Над нами загудело, завывало. Я уже знал, что это пароход, и не испугался, а матрос торопливо опустил меня на пол и бросился вон, говоря:

— Надо бежать!

И мне тоже захотелось убежать. Я вышел за дверь. В полутёмной узкой щели было пусто. Недалеко от двери блестела медь на ступенях лестницы. Взглянув наверх, я увидел людей с котомками и узлами в руках. Было ясно, что все уходят с парохода, — значит и мне нужно уходить.

Но когда вместе с толпой мужиков я очутился у борта парохода, перед мостками на берег, все стали кричать на меня:

— Это чей? Чей ты?

— Не знаю.

Меня долго толкали, встряхивали, щупали. Наконец явился седой матрос и схватил меня, объяснив:

— Это астраханский, из каюты...

Бегом он снёс меня в каюту, сунул на узлы и ушёл, грозя пальцем:

— Я тебе задам!

Шум над головою становился всё тише, пароход уже не дрожал и не бухал по воде. Окно каюты загородила какая-то мокрая стена; стало темно, душно, узлы точно распухли, стесняя меня, и всё было нехорошо. Может быть, меня так и оставят навсегда одного в пустом пароходе?

Подошёл к двери. Она не отворяется, медную ручку её нельзя повернуть. Взяв бутылку с молоком, я со всею силой ударил по ручке. Бутылка разбилась, молоко облило мне ноги, натекло в сапоги.

Огорчённый неудачей, я лёг на узлы, заплакал тихонько и в слезах уснул.

А когда проснулся, пароход снова бухал и дрожал, окно каюты горело, как солнце. Бабушка, сидя около меня, чесала волосы и морщилась, что-то нашёптывая. Волос у неё было странно много, они густо покрывали её плечи, грудь, колени и лежали на полу, чёрные, отливая синим. Приподнимая их с пола одною рукою и держа на весу, она с трудом вводила в толстые пряди деревянный редкозубый гребень; губы её кривились, тёмные глаза сверкали сердито, а лицо в этой массе волос стало маленьким и смешным.

Сегодня она казалась злою, но когда я спросил, отчего у неё такие длинные волосы, она сказала вчерашним тёплым и мягким голосом:

— Видно, в наказание Господь дал, — расчеши-ка вот их, окаянные! Смолоду я гривой этой хвасталась, на старости клянусь! А ты спи! Ещё рано, солнышко чуть только с ночи поднялось...

— Не хочу уж спать!

— Ну, ино не спи, — тотчас согласилась она, заплетая косу и поглядывая на диван, где вверх лицом, вытянувшись струною, лежала мать. — Как это ты вчера бутыл-то раскокал? Тихонько говори!

Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширялись, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые, крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Очень портил его этот рыхлый нос с раздутыми ноздрями и красный на конце. Она нюхала табак из чёрной табакерки, украшенной серебром. Вся она тёмная, но светилась изнутри — через глаза — неугасимым, весёлым и тёплым светом. Она сутула, почти горбатая, очень полная, а двигалась легко и ловко, точно большая кошка, — она и мягкая такая же, как этот ласковый зверь.

До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни.

Сорок лет назад пароходы плавали медленно; мы ехали до Нижнего очень долго, и я хорошо помню эти первые дни насыщения красою.

Установилась хорошая погода; с утра до вечера я с бабушкой на палубе, под ясным небом, между позолоченных осенью, шелками шитых берегов Волги. Не торопясь, лениво и гулко бухая плечами¹ по серовато-синей воде, тянется вверх по течению светло-рыжий пароход, с баржей на длинном буксире. Баржа серая и похожа на мокрицу. Незаметно плывёт над Волгой солнце; каждый час вокруг всё ново, всё меняется; зелёные горы как пышные складки на богатой одежде земли;

¹ *Плѣца* — лопасть парового колеса, захватывающая воду при его вращении.

по берегам стоят города и сёла, точно пряничные издали; золотой осенний лист плывёт по воде.

— Ты гляди, как хорошо-то! — ежеминутно говорит бабушка, переходя от борта к борту, и вся сияет, а глаза у неё радостно расширены.

Часто она, заглядевшись на берег, забывала обо мне: стоит у борта, сложив руки на груди, улыбается и молчит, а на глазах слёзы. Я дёргаю её за тёмную, с набойкой цветами, юбку.

— Ась? — встрепенётся она. — А я будто задремала да сон вижу.

— А о чём плачешь?

— Это, милый, от радости да от старости, — говорит она, улыбаясь. — Я ведь уж старая, за шестой десяток лета-вёсны мои перекинулись-пошли.

И, понюхав табаку, начинает рассказывать мне какие-то диковинные истории о добрых разбойниках, о святых людях, о всяком зверье и нечистой силе.

Сказки она рассказывает тихо, таинственно, наклонясь к моему лицу, заглядывая в глаза мне расширенными зрачками, точно вливая в сердце моё силу, приподнимающую меня. Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат слова. Слушать её невыразимо приятно. Я слушаю и прошу:

— Ещё!

— А ещё вот как было: сидит в подпечке старичок-домовой, занозил он себе лапу лапшой, качается, хныкает: «Ой, мышеньки, больно, ой, мышата, не стерплю!»

Подняв ногу, она хватается за неё руками, качает её на весу и смешно морщит лицо, словно ей самой больно.

Вокруг стоят матросы — бородатые, ласковые мужики, — слушают, смеются, хвалят её и тоже просят:

— А ну, бабушка, расскажи ещё чего!

Потом говорят:

— Айда ужинать с нами!

За ужином они угощают её водкой, меня — арбузами, дыней; это делается скрытно: на пароходе едет человек, который

запрещает есть фрукты, отнимает их и выбрасывает в реку. Он одет похоже на будочника — с медными пуговицами — и всегда пьяный; люди прячутся от него.

Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас. Она всё молчит, мать. Её большое, стройное тело, тёмное, железное лицо, тяжёлая корона заплетённых в косы светлых волос — вся она, мощная и твёрдая, вспоминается мне как бы сквозь туман или прозрачное облако; из него отдалённо и неприветливо смотрят прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки.

Однажды она строго сказала:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А господь с ними! — беззаботно ответила бабушка. — А пускай смеются, на доброе им здоровье!

Помню детскую радость бабушки при виде Нижнего. Дёргая за руку, она толкала меня к борту и кричала:

— Гляди, гляди, как хорошо! Вот он, батюшка Нижний-то! Вот он какой, богов! Церкви-те, гляди-ка ты, летят будто!

И просила мать, чуть не плача:

— Варюша, погляди, чай, а? Поди, забыла ведь! Порадуйся!

Мать хмуро улыбалась.

Когда пароход остановился против красивого города, среди реки, тесно загромождённой судами, ошестинившейся сотнями острых мачт, к борту его подплыла большая лодка со множеством людей, подцепилась багром к спущенному трапу, и один за другим люди из лодки стали подниматься на палубу. Впереди всех быстро шёл небольшой сухонький старичок, в чёрном длинном одеянии, с рыжей, как золото, бородкой, с птичьим носом и зелёными глазками.

— Папаша! — густо и громко крикнула мать и опрокинулась на него, а он, хватая её за голову, быстро глядя щёки её маленькими, красными руками, кричал, взвизгивая:

— Что-о, дура? Ага-а! То-то вот... Эх вы-и...

Бабушка обнимала и целовала как-то сразу всех, вертясь, как винт; она толкала меня к людям и говорила торопливо:

— Ну, скорее! Это дядя Михайло, это Яков... Тётка Наталья, это братья, оба Саши, сестра Катерина — это всё наше племя, вот сколько!

Дедушка сказал ей:

— Здорова ли, мать?

Они троекратно поцеловались.

Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обра-

тился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав:

— Скулы-те отцовы... Слезайте в лодку!

Съехали на берег и толпой пошли в гору, по съезду, мощённому крупным булыжником, между двух высоких откосов, покрытых жухлой, примятой травой.

Дед с матерью шли впереди всех. Он был ростом под руку ей, шагал мелко и быстро, а она, глядя на него сверху вниз, точно по воздуху плыла. За ними молча двигались дядья: чёрный гладковолосый Михаил, сухой, как дед, светлый и кудрявый Яков, какие-то толстые женщи-

ны в ярких платьях и человек шесть детей, все старше меня и все тихие. Я шёл с бабушкой и маленькой тёткой Натальей. Бледная, голубоглазая, с огромным животом, она часто оставалась и, задыхаясь, шептала:

— Ой, не могу!

— На што они тревожили тебя? — сердито ворчала бабушка. — Эко неумное племя!



Ил. Б. Игнатьева



Ил. Б. Игнатьева

И взрослые, и дети — все не понравились мне, я чувствовал себя чужим среди них, даже и бабушка как-то померкла, отдалилась.

Особенно же не понравился мне дед; я сразу почуял в нём врага, и у меня явилось особенное внимание к нему, опасливое любопытство.

Дошли до конца съезда. На самом верху его, прислоняясь к правому откосу и начиная собой улицу, стоял приземистый одноэтажный дом, окрашенный грязно-розовой краской, с нахлобученной низкой крышей и выпученными окнами. С улицы он показался мне большим, но внутри его, в маленьких, полутёмных комнатах, было тесно; везде, как на пароходе перед пристанью, суетились сердитые люди, стайей вороватых воробьёв метались ребятишки, и всюду стоял едкий, незнакомый запах.

Я очутился на дворе. Двор был тоже неприятный: весь завешан огромными мокрыми тряпками, заставлен чанами с густой разноцветной водою. В ней тоже мокли тряпицы. В углу, в низенькой полуразрушенной пристройке, жарко горели дрова в печи, что-то кипело, булькало, и невидимый человек громко говорил странные слова:

— Сандал — фуксин — купорос...



1. Какие чувства у вас вызвало начало произведения? Как относится к происходящему Алёша? Почему он не боится и даже не плачет?
2. Почему в начале повести не называют имени бабушки? Какое впечатление она производила на Алёшу, его мать и других людей во время поездки на пароходе?
3. Что можно сказать о характере Варвары — матери Алёши?
4. Найдите в тексте фрагмент, соответствующий иллюстрации (с. 87). Какие чувства испытывают дед Каширин и Алёша? Сравните рисунок с текстом повести. Что привнёс художник в эпизод?
5. Рассмотрите иллюстрацию (с. 87). Перечитайте соответствующий рисунку фрагмент из повести. Создалось ли у вас впечатление, что художник изобразил семью, а не случайных людей? Поясните своё мнение.
6. Какие впечатления вызвали у Алёши новый дом и его жители? Устно опишите дом и двор Кашириных.

II

Началась и потекла со страшной быстротой густая, пёстрая, невыразимо странная жизнь. Она вспоминается мне, как суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением. Теперь, оживляя прошлое, я сам порою с трудом верю, что всё было именно так, как было, и многое хочется оспорить, отвергнуть, — слишком обильна жестокостью тёмная жизнь «неумного племени».

Но правда выше жалости, и ведь не про себя я рассказываю, а про тот тесный, душный круг жутких впечатлений, в котором жил — да и по сей день живёт — простой русский человек.

Дом деда был наполнен горячим туманом взаимной вражды всех со всеми; она отравляла взрослых, и даже дети принимали в ней живое участие. Впоследствии из рассказов бабушки я узнал, что мать приехала как раз в те дни, когда её братья настойчиво требовали у отца раздела имущества. Неожиданное возвращение матери ещё более обострило и усилило их желание выделиться. Они боялись, что моя мать потребует приданого, назначенного ей, но удержанного дедом, потому что она вышла замуж «самокруткой», против его воли. Дядья считали, что это приданое должно быть поделено между ними. Они тоже давно и жестоко спорили друг с другом о том, кому открыть мастерскую в городе, кому — за Окой, в слободе Кунавине.

Уже вскоре после приезда, в кухне, во время обеда, вспыхнула ссора: дядья внезапно вскочили на ноги и, перегибаясь через стол, стали выть и рычать на дедушку, жалобно скаля зубы и встряхиваясь, как собаки, а дед, стуча ложкой по столу, покраснел весь и звонко — петухом — закричал:

— По миру пуцу!

Болезненно искривив лицо, бабушка говорила:

— Отдай им всё, отец, — спокойней тебе будет, отдай!

— Цыц, потатчица! — кричал дед, сверкая глазами, и было странно, что, маленький такой, он может кричать столь оглушительно.

Мать встала из-за стола и, не торопясь отойдя к окну, повернулась ко всем спиною.

Вдруг дядя Михаил ударил брата наотмашь по лицу; тот взвыл, сцепился с ним, и оба покатались по полу, хрипя, охая, ругаясь.

Заплакали дети; отчаянно закричала беременная тётка Наталья; моя мать потащила её куда-то, взяв в охапку; весёлая рябая нянька Евгенья выгоняла из кухни детей; падали стулья; молодой широкоплечий подмастерье Цыганок сел верхом на спину дяди Михаила, а мастер Григорий Иванович, плешистый, бородатый человек в тёмных очках, спокойно связывал руки дяди полотенцем. Вытянув шею, дядя тёрся редкой чёрной бородой по полу и хрипел страшно, а дедушка, бегая вокруг стола, жалобно вскрикивал:

— Братья, а! Родная кровь! Эх, вы-и...

Я ещё в начале ссоры, испугавшись, вскочил на печь и оттуда в жутком изумлении смотрел, как бабушка смывает водою из медного рукомойника кровь с разбитого лица дяди Якова; он плакал и топал ногами, а она говорила тяжёлым голосом:

— Окаянные, дикое племя, опомнитесь!

Дед, натягивая на плечо изорванную рубаху, кричал ей:

— Что, ведьма, народила зверья?

Когда дядя Яков ушёл, бабушка сунулась в угол, потрясая воя:

— Пресвятая Мати Божия, верни разум детям моим!

Дед встал боком к ней и, глядя на стол, где всё было опрокинуто, пролито, тихо проговорил:

— Ты, мать, гляди за ними, а то они Варвару-то изведут, чего доброго...

— Полно, бог с тобой! Сними-ка рубаху-то, я зашью...

И, сжав его голову ладонями, она поцеловала деда в лоб; он же, — маленький против неё, — ткнулся лицом в плечо ей.

— Надо, видно, делиться, мать...

— Надо, отец, надо!

Они говорили долго; сначала дружелюбно, а потом дед начал шаркать ногой по полу, как петух перед боем, грозил бабушке пальцем и громко шептал:

— Знаю я тебя, ты их больше любишь! А Мишка твой — езуит, а Яшка — фармазон! И пропьют они добро моё, промотают...

Неловко повернувшись на печи, я свалил утюг; загремев по ступеням влаза, он шлёпнулся в лохань с помоями. Дед прыгнул на ступень, стащил меня и стал смотреть в лицо мне так, как будто видел меня впервые.

— Кто тебя посадил на печь? Мать?

— Я сам.

— Врёшь.

— Нет, сам. Я испугался.

Он оттолкнул меня, легонько ударив ладонью в лоб.

— Весь в отца! Пошёл вон...

Я был рад убежать из кухни.

Я хорошо видел, что дед следит за мною умными и зоркими зелёными глазами, и боялся его. Помню, мне всегда хотелось спрятаться от этих обжигающих глаз. Мне казалось, что дед злой; он со всеми говорит насмешливо, обидно, подзадоривая и стараясь рассердить всякого.

— Эх, вы-и! — часто восклицал он; долгий звук «и-и» всегда вызывал у меня скучное, зябкое чувство.

В час отдыха, во время вечернего чая, когда он, дядья и работники приходили в кухню из мастерской, усталые, с руками, окрашенными сандалом, обожжёнными купоросом, с повязанными тесёмкой волосами, все похожие на тёмные иконы в углу кухни, — в этот опасный час дед садился против меня и, вызывая зависть других внуков, разговаривал со мною чаще, чем с ними. Весь он был складный, точёный, острый. Его атласный, шитый шелками глухой жилет был стар, вытерт, ситцевая рубаша измята, на коленях штанов красовались большие заплаты, а всё-таки он казался одетым и чище, и красивей сыновей, носивших пиджаки, манишки и шёлковые косынки на шеях.

Через несколько дней после приезда он заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы её были видны из окон дома.

Меня учила тихонькая, пугливая тётка Наталья, женщина с детским личиком и такими прозрачными глазами, что, мне казалось, сквозь них можно было видеть всё сзади её головы.

Я любил смотреть в глаза ей подолгу, не отрываясь, не мигая; она щурилась, вертела головою и просила тихонько, почти шёпотом:

— Ну, говори, пожалуйста: «Отче наш, иже еси...»

И если я спрашивал: «Что такое — яко же?» — она, пугливо оглянувшись, советовала:

— Ты не спрашивай, это хуже! Просто говори за мною: «Отче наш...» Ну?

Меня беспокоило: почему спрашивать хуже? Слово «яко же» принимало скрытый смысл, и я нарочно всячески искажал его:

— «Яков же», «я в коже»...

Но бледная, словно тающая тётка терпеливо поправляла голосом, который всё прерывался у неё:

— Нет, ты говори просто: «яко же»...

Но и сама она, и все слова её были не просты. Это раздражало меня, мешая запомнить молитву.

Однажды дед спросил:

— Ну, Олёшка, чего сегодня делал? Играл! Вижу по желваку¹ на лбу. Это не велика мудрость желвак нажать! А «Отче наш» заучил?

Тётка тихонько сказала:

— У него память плохая.

Дед усмехнулся, весело приподняв рыжие брови.

— А коли так — высечь надо!

И снова спросил меня:

¹ Желва́к — выпуклость, образованная напряжённым мускулом.

— Тебя отец сёк?

Не понимая, о чём он говорит, я промолчал, а мать сказала:

— Нет. Максим не бил его, да и мне запретил.

— Это почему же?

— Говорил, битьём не выучишь.

— Дурак он был во всём, Максим этот, покойник, прости господи! — сердито и чётко проговорил дед.

Меня обидели его слова. Он заметил это.

— Ты что губы надул? Ишь ты...

И, погладив серебристо-рыжие волосы на голове, он прибавил:

— А я вот в субботу Сашку за напёрсток пороть буду.

— Как это пороть? — спросил я.

Все засмеялись, а дед сказал:

— Погоди, увидишь...

Притаившись, я соображал: пороть — значит расшивать платья, отданные в краску, а сечь и бить — одно и то же, видимо. Бьют лошадей, собак, кошек; в Астрахани будочники бьют персиян, — это я видел. Но я никогда не видал, чтоб так били маленьких, и хотя здесь дядя щёлкали своих то по лбу, то по затылку, — дети относились к этому равнодушно, только почёсывая ушибленное место. Я не однажды спрашивал их:

— Больно?

И всегда они храбро отвечали:

— Нет, нисколечко!

Шумную историю с напёрстком я знал. Вечером, от чая до ужина, дядя и мастер сшивали куски окрашенной материи в одну «штуку» и пристёгивали к ней картонные ярлыки. Желая пошутить над полуслепым Григорием, дядя Михаил велел девятилетнему племяннику накалить на огне свечи напёрсток мастера. Саша зажал напёрсток щипцами для снятия нагара со свеч, сильно накалил его и, незаметно подложив под руку Григория, спрятался за печку, но как раз в этот момент пришёл дедушка, сел за работу и сам сунул палец в калёный напёрсток.

Помню, когда я прибежал в кухню на шум, дед, схватившись за ухо обожжёнными пальцами, смешно прыгал и кричал:

— Чьё дело, басурмане?

Дядя Михаил, согнувшись над столом, гонял напёрсток пальцами и дул на него; мастер невозмутимо шил; тени прыгали по его огромной лысине; прибежал дядя Яков и, спрятавшись за угол печи, тихонько смеялся там; бабушка тёрла на тёрке сырой картофель.

— Чьё дело, басурмане?

— Это Сашка Яковов устроил, — вдруг сказал дядя Михаил.

— Врёшь! — крикнул Яков, выскочив из-за печки.

А где-то в углу его сын плакал и кричал:

— Папа, не верь. Он сам меня научил!

Дядья начали ругаться. Дед же сразу успокоился, приложил к пальцу тёртый картофель и молча ушёл, захватив с собой меня.

Все говорили — виноват дядя Михаил. Естественно, что за чаем я спросил — будут ли его сечь и пороть?

— Надо бы, — проворчал дед, искоса взглянув на меня.

Дядя Михаил, ударив по столу рукою, крикнул матери:

— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему башку сверну!

Мать сказала:

— Попробуй, тронь...

И все замолчали.

Она умела говорить краткие слова как-то так, точно отталкивала ими людей от себя, отбрасывала их, и они умялись.

Мне было ясно, что все боятся матери; даже сам дедушка говорил с нею не так, как с другими — тише. Это было приятно мне, и я с гордостью хвастался перед братьями:

— Моя мать — самая сильная!

Они не возражали.

Но то, что случилось в субботу, надорвало моё отношение к матери.

До субботы я тоже успел провиниться.

Меня очень занимало, как ловко взрослые изменяют цвета материй: берут жёлтую, мочат её в чёрной воде, и материя делается густо-синей — «кубовой»; полощут серое в рыжей воде, и оно становится красноватым — «бордо». Просто, а непонятно.

Мне захотелось самому окрасить что-нибудь, и я сказал об этом Саше Яковову, серьёзному мальчику; он всегда держался на виду у взрослых, со всеми ласковый, готовый всем и всячески услужить. Взрослые хвалили его за послушание, за ум, но дедушка смотрел на Сашу искоса и говорил:

— Экой подхалим!

Худенький, тёмный, с выпученными, рачьими глазами, Саша Яковов говорил торопливо, тихо, захлёбываясь словами, и всегда таинственно оглядывался, точно собираясь бежать куда-то, спрятаться. Карие зрачки его были неподвижны, но когда он возбуждался, дрожали вместе с белками.

Он был неприятен мне. Мне гораздо больше нравился малозаметный увалень Саша Михайлов, мальчик тихий, с печальными глазами и хорошей улыбкой, очень похожий на свою кроткую мать. У него были некрасивые зубы, они высовывались из рта и в верхней челюсти росли двумя рядами. Это очень занимало его; он постоянно держал во рту пальцы, раскачивая, пытаясь выдернуть зубы заднего ряда; он покорно позволял щупать их каждому, кто желал. Но ничего более интересного я не находил в нём. В доме, битком набитом людьми, он жил одиноко, любил сидеть в полутёмных углах, а вечером у окна. С ним хорошо было молчать — сидеть у окна, тесно прижавшись к нему, и молчать целый час, глядя, как в красном вечернем небе вокруг золотых лукович Успенского храма выются-мечутся чёрные галки, взмывают высоко вверх, падают вниз и, вдруг покрыв угасающее небо чёрною сетью, исчезают куда-то, оставив за собой пустоту. Когда смотришь на это, говорить ни о чём не хочется и приятная скука наполняет грудь.

А Саша дяди Якова мог обо всём говорить много и солидно, как взрослый. Узнав, что я желаю заняться ремеслом красильщика, он посоветовал мне взять из шкапа белую праздничную скатерть и окрасить её в синий цвет.

— Белое всегда легче красить, уж я знаю! — сказал он очень серьёзно.

Я вытащил тяжёлую скатерть, выбежал с нею во двор, но когда опустил край её в чан с «кубовой», на меня налетел откуда-то Цыганок, вырвал скатерть и, отжимая её широкими лапами, крикнул брату, следившему из сеней за моей работой:

— Зови бабушку скорее!

И, зловеще качая чёрной, лохматой головой, сказал мне:

— Ну и попадёт же тебе за это!

Прибежала бабушка, заохала, даже заплакала, смешно ругая меня:

— Ах ты, пермяк, солёны уши! Чтоб те приподняло да шлёпнуло!

Потом стала уговаривать Цыганка:

— Уж ты, Ваня, не сказывай дедушке-то! Уж я спрячу дело; авось, обойдётся как-нибудь...

Ванька озабоченно говорил, вытирая мокрые руки разноцветным передником:

— Мне что? Я не скажу; глядите, Сашутка не наябедничал бы!

— Я ему семишник дам, — сказала бабушка, уводя меня в дом.

В субботу, перед всенощной, кто-то привёл меня в кухню; там было темно и тихо. Помню плотно прикрытые двери в сени и в комнаты, а за окнами серую муть осеннего вечера, шорох дождя. Перед чёрным челом печи на широкой скамье сидел сердитый, не похожий на себя Цыганок; дедушка, стоя в углу у лохани, выбирал из ведра с водой длинные прутья, мерял их, складывая один с другим, и со свистом размахивал ими по воздуху. Бабушка, стоя где-то в темноте, громко нюхала табак и ворчала:

— Ра-ад... мучитель...

Саша Яковов, сидя на стуле среди кухни, тёр кулаками глаза и не своим голосом, точно старенький нищий, тянул:

— Простите Христа ради...

Как деревянные, стояли за стулом дети дяди Михаила, брат и сестра, плечом к плечу.

— Высеку — прощу, — сказал дедушка, пропуская длинный влажный прут сквозь кулак. — Ну-ка, снимай штаны-то!..

Говорил он спокойно, и ни звук его голоса, ни возня мальчика на скрипучем стуле, ни шарканье ног бабушки — ничто не нарушало памятной тишины в сумраке кухни, под низким закопчённым потолком.

Саша встал, расстегнул штаны, спустил их до колен и, подерживая руками, согнувшись, спотыкаясь, пошёл к скамье. Смотреть, как он идёт, было нехорошо, у меня тоже дрожали ноги.

Но стало ещё хуже, когда он покорно лёг на скамью вниз лицом, а Ванька, привязав его к скамье под мышки и за шею широким полотенцем, наклонился над ним и схватил чёрными руками ноги его у щиколоток.

— Лексей, — позвал дед, — иди ближе!.. Ну, кому говорю? Вот, гляди, как секут... Раз!..

Невысоко взмахнув рукой, он хлопнул прутom по голому телу. Саша взвизгнул.

— Врёшь, — сказал дед, — это не больно! А вот эдак больней!

И ударил так, что на теле сразу загорелась, вспухла красная полоса, а брат протяжно завыл.

— Не сладко? — спрашивал дед, равномерно поднимая и опуская руку. — Не любишь? Это за напёрсток!

Когда он взмахивал рукой, в груди у меня всё поднималось вместе с нею; падала рука — и я весь точно падал.

Саша визжал страшно тонко, противно:

— Не буду-у... Ведь я же сказал про скатерть... Ведь я сказал...

Спокойно, точно псалтирь читая, дед говорил:

— Донос — не оправдание! Доносчику первый кнут. Вот тебе за скатерть!

Бабушка кинулась ко мне и схватила меня на руки, закричав:

— Лексея не дам! Не дам, изверг!

Она стала бить ногою в дверь, призывая:

— Варя, Варвара!

Дед бросился к ней, сшиб её с ног, выхватил меня и понёс к лавке. Я бился в руках у него, дёргая рыжую бороду, укусил ему палец. Он орал, тискал меня и, наконец, бросил на лавку, разбив мне лицо. Помню дикий его крик:

— Привязывай! Убью!

Помню белое лицо матери и её огромные глаза. Она бегала вдоль лавки и хрипела:

— Папаша, не надо!.. Отдайте...

Дед засёк меня до потери сознания, и несколько дней я хворал, валяясь вверх спиной на широкой жаркой постели в маленькой комнате с одним окном и красной, неугасимой лампадой в углу перед киотом¹ со множеством икон.

Дни нездоровья были для меня большими днями жизни. В течение их я, должно быть, сильно вырос и почувствовал что-то особенное. С тех дней у меня явилось беспокойное внимание к людям, и, точно мне содрали кожу с сердца, оно стало невыносимо чутким ко всякой обиде и боли, своей и чужой.

Прежде всего меня очень поразила ссора бабушки с матерью: в тесноте комнаты бабушка, чёрная и большая, лезла на мать, заталкивая её в угол, к образам, и шипела:

— Ты что не отняла его, а?

— Испугалась я.

— Эдакая-то здоровенная! Стыдись, Варвара! Я — старуха, да не боюсь! Стыдно!..

¹ *Ки́от* — створчатый шкафчик или застеклённая полка для икон.

— Отстаньте, мамаша: тошно мне...

— Нет, не любишь ты его, не жаль тебе сироту!

Мать сказала тяжело и громко:

— Я сама на всю жизнь сирота!

Потом они обе долго плакали, сидя в углу на сундуке, и мать говорила:

— Если бы не Алексей, ушла бы я, уехала! Не могу жить в аду этом, не могу, мамаша! Сил нет...

— Кровь ты моя, сердце моё, — шептала бабушка.

Я запомнил: мать — не сильная; она, как все, боится деда. Я мешаю ей уйти из дома, где она не может жить. Это было очень грустно. Вскоре мать, действительно, исчезла из дома. Уехала куда-то гостить.

Как-то вдруг, точно с потолка спрыгнув, явился дедушка, сел на кровать, пощупал мне голову холодной, как лёд, рукою:

— Здравствуй, сударь... Да ты ответь, не сердись!.. Ну, что ли?..

Очень хотелось ударить его ногой, но было больно пошевелиться. Он казался ещё более рыжим, чем был раньше; голова его беспокойно качалась; яркие глаза искали чего-то на стене. Вынув из кармана пряничного козла, два сахарных рожка, яблоко и ветку синего изюма, он положил всё это на подушку, к носу моему.

— Вот, видишь, я тебе гостинца принёс!

Нагнувшись, поцеловал меня в лоб; потом заговорил, тихо поглаживая голову мою маленькой, жёсткой рукою, окрашенной в жёлтый цвет, особенно заметный на кривых птичьих ногтях.

— Я тебя тогда перетово, брат. Разгорячился очень; укусил ты меня, царапал, ну, и я тоже рассердился! Однако не беда, что ты лишнее перетерпел — взачёт пойдёт! Ты знай: когда свой, родной бьёт — это не обида, а наука! Чужому не давайся, а свой — ничего! Ты думаешь, меня не били? Меня, Олёша, так били, что ты этого и в страшном сне не увидишь. Меня так обижали, что, поди-ка, сам Господь Бог глядел — плакал!



Ил. Б. Игнатъева

А что вышло? Сирота, нищей матери сын, я вот дошёл до своего места — старшиной цеховым сделан, начальник людям.

Привалившись ко мне сухим, складным телом, он стал рассказывать о детских своих днях словами крепкими и тяжёлыми, складывая их одно с другим легко и ловко.

Его зелёные глаза ярко разгорелись, и, весело ощетинившись золотым волосом, сгустив высокий свой голос, он трубил в лицо мне:

— Ты вот пароходом прибыл, пар тебя вёз, а я в молодости сам своей силой супротив Волги баржи тянул. Баржа — по воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям, да так от восхода солнца до ночи! Накалит солнышко затылок-то, голова, как чугун, кипит, а ты, согнувшись в три погибели, — косточки скрипят, — идёшь да идёшь, и пути не видать, глаза потом залило, а душа-то плачется, а слеза-то катится, — эх-ма, Олёша, помалкивай! Идёшь, идёшь, да из лямки-то и вывалишься, мордой в землю — и тому рад; стало быть, вся сила чисто вышла, хоть отдыхай, хоть издыхай! Вот как жили у Бога на глазах, у милостивого Господа Иисуса Христа!.. Да так-то я трижды Волгу-мать вымерял: от Симбирского до Рыбинска, от Саратова досюдова да от Астрахани до Макарьева, до ярмарки, — в этом многие тысячи вёрст! А на четвёртый год уж и водоливом пошёл, — показал хозяину разум свой!..

Говорил он и — быстро, как облако, рос передо мною, превращаясь из маленького, сухого старичка в человека силы сказочной, — он один ведёт против реки огромную серую баржу...

Иногда он соскакивал с постели и, размахивая руками, показывал мне, как ходят бурлаки в лямках, как откачивают воду; пел баском какие-то песни, потом снова молодо прыгал на кровать и, весь удивительный, ещё более густо, крепко говорил:

— Ну, зато, Олёша, на привале, на отдыхе, летним вечером в Жигулях, где-нибудь, под зелёной горой, поразложим, бывалоче, костры — кашницу варить, да как заведёт горевой бурлак сердечную песню, да как вступится, грянет вся артель, — аж мороз по коже дёрнет, и будто Волга вся быстрее пойдёт, — так бы, чай, конём и встала на дыбы, до самых облаков. И всякое горе — как пыль по ветру; до того люди запевались, что, бывало, и каша вон из котла бежит; тут кашевара по лбу половником надо бить: играй, как хошь, а дело помни!

Несколько раз в дверь заглядывали, звали его, но я просил:
— Не уходи!

Он, усмехаясь, отмахивался от людей:

— Погодите там...

Рассказывал он вплоть до вечера, и, когда ушёл, ласково простясь со мной, я знал, что дедушка не злой и не страшен. Мне до слёз трудно было вспоминать, что это он так жестоко избил меня, но и забыть об этом я не мог.

Посещение деда широко открыло дверь для всех, и с утра до вечера кто-нибудь сидел у постели, всячески стараясь позабавить меня; помню, что это не всегда было весело и забавно. Чаще других бывала у меня бабушка; она и спала на одной кровати со мной; но самое яркое впечатление этих дней дал мне Цыганок. Квадратный, широкогрудый, с огромной кудрявой головой, он явился под вечер, празднично одетый в золотистую шёлковую рубаху, плисовые штаны и скрипучие сапоги гармоникой. Блестели его волосы, сверкали раскосые весёлые глаза под густыми бровями и белые зубы под чёрной полоской молодых усов, горела рубаха, мягко отражая красный огонь неугасимой лампы.

— Ты глянь-ка, — сказал он, приподняв рукав, показывая мне голую руку, до локтя в красных рубцах, — вон как разнесло! Да ещё хуже было, зажило много!

Чуешь ли: как вошёл дед в ярость, и вижу, запрет он тебя, так начал я руку эту подставлять, ждал — переломится прут, дедушка-то отойдёт за другим, а тебя и утащат бабаня али мать!

Ну, прут не переломился, гибок, мочёный! А всё-таки тебе меньше попало, — видишь, насколько? Я, брат, жуликоватый!..

Он засмеялся шёлковым, ласковым смехом, снова разглядывая вспухшую руку, и, смеясь, говорил:

— Так жаль стало мне тебя, аж горло перехватывает, чую! Беда! А он хлещет...

Фыркая по-лошадиному, мотая головой, он стал говорить что-то про деда, сразу близкий мне, детски простой.

Я сказал ему, что очень люблю его, — он незабвенно просто ответил:

— Так ведь и я тебя тоже люблю, — за то и боль принял, за любви! Али я стал бы за другого за кого? Наплевать мне...

Потом он учил меня, тихонько, часто оглядываясь на дверь:

— Когда тебя вдругорядь¹ сечь будут, ты гляди, не сжимайся, не сжимай тело-то, — чуешь? Вдвойне больней, когда тело сожмёшь, а ты распусти его свободно, чтоб оно мягко было, — киселём лежи! И не надувайся, дыши во всю, кричи благим матом, — ты это помни, это хорошо!

Я спросил:

— Разве ещё сечь будут?

— А как же? — спокойно сказал Цыганок. — Конечно, будут! Тебя, поди-ка, часто будут драть...

— За что?

— Уж дедушка сыщёт...

И снова озабоченно стал учить:

— Коли он сечёт с навеса, просто сверху кладёт лозу, — ну, тут лежи спокойно, мягко; а ежели он с оттяжкой сечёт, — ударит, да к себе тянет лозину, чтобы кожу снять, — так и ты вилай телом к нему, за лозой, понимаешь? Это легче!

Подмигнув тёмным, косым глазом, он сказал:

— Я в этом деле умнее самого квартального! У меня, брат, из кожи хоть голицы шей!

Я смотрел на его весёлое лицо и вспоминал бабушкины сказки про Ивана-царевича, про Иванушку-дурачка.

¹ Вдругорядь — во второй раз, снова.



1. Перечитайте начало главы II. Определите ключевые выражения, характеризующие новую жизнь Алёши. Как вы их понимаете?
2. Прочитайте описание дома Кашириных. Найдите в этом описании эпитеты и сравнения, определите их роль в передаче атмосферы этого дома. Хотелось ли вам погостить в такой семье?
3. Какое чувство проявлялось у всех жителей дома Кашириных? На чём был основан авторитет деда? Кто и почему его не боялся? Чем объяснить противоречивое отношение Алёши к деду?
4. Найдите описание внешности деда Каширина. Чем он отличался от других членов семьи? Сравните обычную речь деда и его высказывания о молодости, бурлаках (с. 100—101). Почему так меняется один и тот же человек?
5. Рассмотрите иллюстрацию (с. 100). Каким вы видите на ней Каширина? Какое впечатление он на вас производит? Обратите внимание на руки деда и на положение его головы. Поясните, по каким деталям можно понять, о чём дед Каширин рассказывает в этот момент.
6. Почему Алёшу, в отличие от остальных детей, так потрясла порка? Что для мальчика было страшнее: физическая боль или моральное унижение?

III

Когда я выздоровел, мне стало ясно, что Цыганок занимает в доме особенное место: дедушка кричал на него не так часто и сердито, как на сыновей, а за глаза говорил о нём, жмурясь и покачивая голову:

— Золотые руки у Иванка, дуй его горой! Помяните моё слово: не мал человек растёт!

Дядя тоже обращались с Цыганком ласково, дружески и никогда не «шутили» с ним, как с мастером Григорием, которому они почти каждый вечер устраивали что-нибудь обидное и злое: то нагреют на огне ручки ножниц, то воткнут в сиденье его стула гвоздь вверх остриём или подложат, полуслепому, разноцветные куски материи, — он сошьёт их в «штуку», а дедушка ругает его за это.

Однажды, когда он спал после обеда в кухне на полатах, ему покрасили лицо фуксином, и долго он ходил смешной,

страшный: из серой бороды тускло смотрят два круглых пятна очков, и уныло опускается длинный багровый нос, похожий на язык.

Они были неистощимы в таких выдумках, но мастер всё сносил молча, только крякал тихонько да, прежде чем дотронуться до утюга, ножниц, щипцов или напёрстка, обильно смачивал пальцы слюною. Это стало его привычкой; даже за обедом, перед тем как взять нож или вилку, он муслил пальцы, возбуждая смех детей. Когда ему было больно, на его большом лице являлась волна морщин и, странно скользнув по лбу, приподняв брови, пропадала где-то на голом черепе.

Не помню, как относился дед к этим забавам сыновей, но бабушка грозила им кулаком и кричала:

— Бесстыжие рожи, злыдни!

Но и о Цыганке за глаза дядья говорили сердито, насмешливо, порицали его работу, ругали вором и лентяем.

Я спросил бабушку, отчего это.

Охотно и понятно, как всегда, она объяснила мне:

— А видишь ты, обоим хочется Ванюшку себе взять, когда у них свои-то мастерские будут, вот они друг перед другом и хаут его: дескать, плохой работник! Это они врут, хитрят. А ещё боятся, что не пойдёт к ним Ванюшка, останется с дедом, а дед своенравный, он и третью мастерскую с Иванкой завести может, — дядьям-то невыгодно будет, понял?

Она тихонько засмеялась:

— Хитрят всё, Богу на смех! Ну а дедушка хитрости эти видит да нарочно дразнит Яшу с Мишей: «Куплю, говорит, Ивану рекрутскую квитанцию, чтобы его в солдаты не забрали: мне он самому нужен!» А они сердятся, им этого не хочется, и денег жаль, — квитанция-то дорогая!

Теперь я снова жил с бабушкой, как на пароходе, и каждый вечер перед сном она рассказывала мне сказки или свою жизнь, тоже подобную сказке. А про деловую жизнь семьи — о выделе детей, о покупке дедом нового дома для себя — она

говорила посмеиваясь, отчуждённо, как-то издали, точно соседка, а не вторая в доме по старшинству.

Я узнал от неё, что Цыганок — подкидыш; раннею весной, в дождливую ночь его нашли у ворот дома на лавке.

— Лежит, в запон¹ обёрнут, — задумчиво и таинственно сказывала бабушка, — еле попискивает, зачоченел уж.

— А зачем подкидывают детей?

— Молока у матери нет, кормить нечем; вот она узнаёт, где недавно дитя родилось да померло, и подсунет туда своего-то.

Помолчав, почесавши голову, она продолжала, вздыхая, глядя в потолок:

— Бедность всё, Олёша; такая бывает бедность, что и говорить нельзя! И считается, что незамужняя девица не смей родить, — стыдно-де! Дедушка хотел было Ванюшку-то в полицию нести, да я отговорила: возьмём, мол, себе; это Бог нам послал в тех место, которые померли. Ведь у меня восемнадцать было рожено; кабы все жили, — целая улица народу, восемнадцать-то домов! Я, гляди, на четырнадцатом году замуж отдана, а к пятнадцати уж и родила; да вот полюбил Господь кровь мою, всё брал и брал ребятишек моих в ангелы. И жалко мне, а и радостно!

Сидя на краю постели в одной рубахе, вся осыпанная чёрными волосами, огромная и лохматая, она была похожа на медведицу, которую недавно приводил на двор бородатый, лесной мужик из Сергача. Крестя снежно-белую, чистую грудь, она тихонько смеётся, колышется вся:

— Получше себе взял, похуже мне оставил. Очень я обрадовалась Иванке, — уж больно люблю вас, маленьких! Ну, и приняли его, окрестили, вот он и живёт, хорош. Я его вначале Жуком звала, — он, бывало, ужжал особенно, совсем жук, ползёт и ужжит на все горницы. Люби его — он простая душа!

Я и любил Ивана, и удивлялся ему до немоты.

¹ *Запон* — передник, фартук.

По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неопишимо забавная жизнь: Цыганок доставал из-за печи чёрных тараканов, быстро делал нитяную упряжь, вырезывал из бумаги сани, и по жёлтому, чисто выскобленному столу разъезжала четвёрка вороных, а Иван, направляя их бег тонкой лучиной, возбуждённо визжал:

— За архереем поехали!

Приклеивал на спину таракана маленькую бумажку, гнал его за санями и объяснял:

— Мешок забыли. Монах бежит, тащит!

Связывал ножки таракана ниткой; насекомое ползло, тыкаясь головой, а Ванька кричал, прихлопывая ладонями:

— Дьячок из кабака к вечерней идёт!

Он показывал мышат, которые под его команду стояли и ходили на задних лапах, волоча за собою длинные хвосты, смешно мигая чёрненькими бусинами бойких глаз. С мышами он обращался бережно, носил их за пазухой, кормил изо рта сахаром, целовал и говорил убедительно:

— Мышь — умный житель, ласковый, её домовый очень любит! Кто мышей кормит, тому и дед-домовик мирволит¹...

Он умел делать фокусы с картами, деньгами, кричал больше всех детей и почти ничем не отличался от них. Однажды дети, играя с ним в карты, оставили его «дураком» несколько раз кряду, — он очень опечалился, обиженно надул губы и бросил игру, а потом жаловался мне, шмыгая носом:

— Знаю я, они уговорились! Они перемигивались, карты совали друг другу под столом. Разве это игра? Жульничать я сам умею не хуже...

Ему было девятнадцать лет, и был он больше всех нас четверых, взятых вместе.

Но особенно он памятен мне в праздничные вечера; когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудря-

¹ *Мирво́лит* — давать поблажку, потакать.

вый, встрёпанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зелёном штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая тёмными стёклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно кубышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и ещё какие-то тёмные, скользкие люди, похожие на щук и налимов.

Все много пили, ели, вздыхая тяжело, детям давали гостинцы, по рюмке сладкой наливки, и постепенно разгоралось жаркое, но странное веселье.

Дядя Яков любовно настраивал гитару, а настроив, говорил всегда одни и те же слова:

— Ну-с, я начну-с!

Встряхнув кудрями, он сгибался над гитарой, сгибал шею, точно гусь; круглое, беззаботное лицо его становилось сонным; живые, неуловимые глаза угасали в масляном тумане, и, тихонько пощипывая струны, он играл что-то размычное¹, невольно поднимавшее на ноги.

Его музыка требовала напряжённой тишины; торопливым ручьём она бежала откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку становилось жалко всех и себя самого, большие казались тоже маленькими, и все сидели неподвижно, притаясь в задумчивом молчании.

Особенно напряжённо слушал Саша Михайлов; он всё вытягивался в сторону дяди, смотрел на гитару, открыв рот, и через губу у него тянулась слюна. Иногда он забывался до того, что падал со стула, тыкаясь руками в пол, и, если это случалось, он так уж и сидел на полу, вытаращив застывшие глаза.

И все застывали, очарованные; только самовар тихо поёт, не мешая слушать жалобу гитары. Два квадрата маленьких

¹ *Размычный* — возбуждающий, сильно действующий.

окон устремлены во тьму осенней ночи, порою кто-то мягко постукивает в них. На столе качаются жёлтые огни двух сальных свеч, острые, точно копья.

Дядя Яков всё более цепенел; казалось, он крепко спит, сцепив зубы, только руки его живут отдельной жизнью: изогнутые пальцы правой неразличимо дрожали над тёмным голосником, точно птица порхала и билась; пальцы левой с неуловимою быстротой бегали по грифу.

Выпивши, он почти всегда пел сквозь зубы голосом, неприятно свистящим, бесконечную песню:

Быть бы Якову собакою —
Выл бы Яков с утра до ночи:
Ой, скушно мне!
Ой, грустно мне!
По улице монахиня идёт;
На заборе ворона сидит.
Ой, скушно мне!
За печкою сверчок торохтит,
Тараканы беспокоятся.
Ой, скушно мне!
Нищий вывесил портянки сушить,
А другой нищий портянки украл!
Ой, скушно мне!
Да, ох, грустно мне!

Я не выносил этой песни и, когда дядя запевал о нищих, буйно плакал в невыносимой тоске.

Цыганок слушал музыку с тем же вниманием, как все, запустив пальцы в свои чёрные космы, глядя в угол и посапывая. Иногда он неожиданно и жалобно восклицал:

— Эх, кабы голос мне, — пел бы я как, господи!

Бабушка, вздыхая, говорила:

— Будет тебе, Яша, сердце надрывать! А ты бы, Ванятка, поплясал...

Они не всегда исполняли просьбу её сразу, но бывало, что музыкант вдруг на секунду прижимал струны ладонью, а по-

том, сжав кулак, с силою отбрасывал от себя на пол что-то невидимое, беззвучное и ухарски кричал:

— Прочь, грусть-тоска! Ванька, становись!

Охорашиваясь, одёргивая жёлтую рубаху, Цыганок осторожно, точно по гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щёки краснели и, сконфуженно улыбаясь, он просил:

— Только почаще, Яков Васильич!

Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, на столе и в шкапу дребезжала посуда, а среди кухни огнём пылал Цыганок, реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ноги; гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая всё вокруг блеском шёлка, а шёлк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился.

Цыганок плясал неумоимо, самозабвенно, и казалось, что если открыть дверь на волю, он так и пойдёт плясом по улице, по городу, неизвестно куда...

— Режь поперёк! — кричал дядя Яков, притопывая.

И пронзительно свистел и раздражающим голосом выкрикивал прибаутки:

Эхма! Кабы не было мне жалко лаптей,
Убежал бы от жены и детей!

Людей за столом подёргивало, они тоже порою вскрикивали, подвизгивали, точно их обжигало; бородатый мастер хлопал себя по лысине и урчал что-то. Однажды он, наклонясь ко мне и покрыв мягкой бородою плечо моё, сказал прямо в ухо, обращаясь словно к взрослому:

— Отца бы твоего, Лексей Максимыч, сюда, — он бы другой огонь зажёл! Радостный был муж, утешный. Ты его помнишь ли?

— Нет.

— Ну? Бывало он да бабушка, — стой-ко, погоди!

Он поднялся на ноги, высокий, измождённый, похожий на образ святого, поклонился бабушке и стал просить её необычно густым голосом:

— Акулина Ивановна, сделай милость, пройдишь разок! Как, бывало, с Максимом Савватеевым хаживала. Утешь!

— Что ты, свет, что ты, сударь Григорий Иваныч? — пошмеиваясь и поёживаясь, говорила бабушка. — Куда уж мне плясать? Людей смешить только...

Но все стали просить её, и вдруг она молодо встала, оправила юбку, выпрямилась, вскинув тяжёлую голову, и пошла по кухне, вскрикивая:

— А смейтесь, ино, на здоровье! Ну-ка, Яша, перетряхни музыку-то!

Дядя весь вскинулся, вытянулся, прикрыл глаза и заиграл медленнее; Цыганок на минуту остановился и, подскочив, пошёл вприсядку кругом бабушки, а она плыла по полу бесшумно, как по воздуху, разводя руками, подняв брови, глядя куда-то вдаль тёмными глазами. Мне она показалась смешной, я фыркнул; мастер строго погрозил мне пальцем, и все взрослые посмотрели в мою сторону неодобрительно.

— Не стучи, Иван! — сказал мастер, усмехаясь; Цыганок послушно отскочил в сторону, сел на порог, а нянька Евгенья, выгнув кадык, запела низким, приятным голосом:

Всю неделю, до субботы,
Плела девка кружева,
Истомила работой,
Эх, просто чуть жива!

Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идёт тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, всё её большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас засияло доброй, приветливой улыбкой. Откачнувшись в сторону, уступая кому-то дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, улыбаясь всё веселее, — и вдруг её сорвало с места, закружило вихрем, вся она стала стройней, выше ростом, и уже нельзя было глаз отвести от неё — так

буйно красива и мила становилась она в эти минуты чудесного возвращения к юности!

А нянька Евгенья гудела, как труба:

В воскресенье от обедни
До полуночи плясала.
Ушла с улицы последней,
Жаль — праздника мало!

Кончив плясать, бабушка села на своё место к самовару; все хвалили её, а она, поправляя волосы, говорила:

— А вы полноте-ка! Не видали вы настоящих-то плясуней. А вот у нас в Балахне была девка одна, — уж и не помню чья, как звали, — так иные, глядя на её пляску, даже плакали в радости! Глядишь, бывало, на неё, — вот тебе и праздник, и боле ничего не надо! Завидовала я ей, грешница!

— Певцы да плясуны — первые люди на миру! — строго сказала нянька Евгенья и начала петь что-то про царя Давида, а дядя Яков, обняв Цыганка, говорил ему:

— Тебе бы в трактирах плясать, — с ума свёл бы ты людей!..

— Мне голос иметь хочется! — жаловался Цыганок. — Ежели бы голос Бог дал, десять лет я бы попел, а после — хоть в монахи!

Все пили водку, особенно много — Григорий. Наливая ему стакан за стаканом, бабушка предупреждала:

— Гляди, Гриша, вовсе ослепнешь!

Он отвечал солидно:

— Пускай! Мне глаза больше не надобны, — всё видел я...

Пил он, не пьянея, но становился всё более разговорчивым и почти всегда говорил мне про отца:

— Большого сердца был муж, дружок мой, Максим Савватейч...

Бабушка вздыхала, поддакивая:

— Да, господне дитя...

Всё было страшно интересно, всё держало меня в напряжении, и от всего просачивалась в сердце какая-то тихая,

неутомляющая грусть. И грусть, и радость жили в людях рядом, нераздельно почти, заменяя одна другую с неуловимой, непонятной быстротой.

Однажды дядя Яков, не очень пьяный, начал рвать на себе рубаху, яростно дёргать себя за кудри, за редкие белёсые усы, за нос и отвисшую губу.

— Что это такое, что? — выл он, обливаясь слезами. — Зачем это?

Бил себя по щекам, по лбу, в грудь и рыдал:

— Негодяй и подлец, разбитая душа!

Григорий рычал:

— Ага-а! То-то вот!..

А бабушка, тоже нетрезвая, уговаривала сына, ловя его руки:

— Полно, Яша, Господь знает, чему учит!

Выпивши, она становилась ещё лучше: тёмные её глаза, улыбаясь, изливали на всех греющий душу свет, и, обмахивая платком разгоревшееся лицо, она певуче говорила:

— Господи, господи! Как хорошо всё! Нет, вы глядите, как хорошо-то всё!

Это был крик её сердца, лозунг всей жизни.

Меня очень поразили слёзы и крики беззаботного дяди. Я спросил бабушку, отчего он плакал, и ругал, и бил себя.

— Всё бы тебе знать! — неохотно, против обыкновения, сказала она. Погоди, рано тебе торкаться в эти дела...

Это ещё более возбудило моё любопытство. Я пошёл в мастерскую и привязался к Ивану, но и он не хотел ответить мне, смеялся тихонько, искоса поглядывая на мастера, и, выталкивая меня из мастерской, кричал:

— Отстань, отойди! Вот я тебя в котёл спущу, выкрашу!

Мастер, стоя пред широкой низенькой печью, со вмазанными в неё тремя котлами, помещивал в них длинной чёрной мешалкой и, вынимая её, смотрел, как стекают с конца цветные капли. Жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пёстрого, как риза попа. Шипела в котлах окра-

шенная вода, едкий пар густым облаком тянулся к двери, по двору носился сухой позёмок.

Мастер взглянул на меня из-под очков мутными, красными глазами и грубо сказал Ивану:

— Дров! Али не видишь?

А когда Цыганок выбежал во двор, Григорий, присев на куль¹ сандала, поманил меня к себе:

— Подь сюда!

Посадил на колени и, уткнувшись тёплой, мягкой бородой в щёку мне, памятно сказал:

— Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дёргает, — понял? Тебе всё надо понимать, гляди, а то пропадёшь!

С Григорием — просто, как с бабушкой, но жутко, и кажется, что он из-под очков видит всё насквозь.

— Как забил? — говорит он не торопясь. — А так: ляжет спать с ней, накроет её одеялом с головою и тискает, бьёт. Зачем? А он поди и сам не знает.

И, не обращая внимания на Ивана, который, возвратясь с охапкой дров, сидит на корточках перед огнём, грея руки, мастер продолжает внушительно:

— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со света сживали. Она всё скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьёт, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за неё крепко...

Он оттолкнул меня, и я вышел на двор, удручённый, напуганный. В сенях дома меня догнал Ванюшка, схватил за голову и шепнул тихонько:

— Ты не бойся его, он добрый; ты гляди прямо в глаза ему, он это любит.

¹ Куль — то же, что мешок.

Всё было странно и волновало. Я не знал другой жизни, но смутно помнил, что отец и мать жили не так: были у них другие речи, другое веселье, ходили и сидели они всегда рядом, близко. Они часто и подолгу смеялись вечерами, сидя у окна, пели громко; на улице собирались люди, глядя на них. Лица людей, поднятые вверх, смешно напоминали мне грязные тарелки после обеда. Здесь смеялись мало, и не всегда было ясно, над чем смеются. Часто кричали друг на друга, грозили чем-то один другому, тайно шептались в углах. Дети были тихи, незаметны; они прибиты к земле, как пыль дождём. Я чувствовал себя чужим в доме, и вся эта жизнь возбуждала меня десятками уколов, настраивая подозрительно, заставляя присматриваться ко всему с напряжённым вниманием.

Моя дружба с Иваном всё росла; бабушка от восхода солнца до поздней ночи была занята работой по дому, и я почти весь день вертелся около Цыганка. Он всё так же подставлял под розги руку свою, когда дедушка сёк меня, а на другой день, показывая опухшие пальцы, жаловался мне:

— Нет, это всё без толку! Тебе — не легче, а мне — гляди-ка вот! Больше я не стану, ну тебя!

И в следующий раз снова принимал ненужную боль.

— Ты ведь не хотел?

— Не хотел, да вот сунул... Так уж как-то, незаметно...

Вскоре я узнал про Цыганка нечто, ещё больше поднявшее мой интерес к нему и мою любовь.

Каждую пятницу Цыганок запрягал в широкие сани гnedого мерина Шарапа, любимца бабушки, хитрого озорника и сластёну, одевал короткий, до колен, полушубок, тяжёлую шапку и, туго подпоясавшись зелёным кушаком, ехал на базар покупать провизию. Иногда он не возвращался долго. Все в доме беспокоились, подходили к окнам и, протаивая дыханием лёд на стёклах, заглядывали на улицу.

— Не едет?

— Нет!

Больше всех волновалась бабушка.

— Эхма, — говорила она сыновьям и деду, — погубите вы мне человека и лошадь погубите! И как не стыдно вам, рожи бессовестные? Али мало своего? Ох, неумное племя, жадюги, — накажет вас Господь!

Дедушка хмуро ворчал:

— Ну, ладно. Последний раз это...

Иногда Цыганок возвращался только к полудню; дядья, дедушка поспешно шли на двор; за ними, ожесточённо нюхая табак, медведицей двигалась бабушка, почему-то всегда неуклюжая в этот час. Выбегали дети, и начиналась весёлая разгрузка саней, полных поросятами, битой птицей, рыбой и кусками мяса всех сортов.

— Всего купил, как сказано было? — спрашивал дед, искося острыми глазами ощупывая воз.

— Всё как надо, — весело отзывался Иван и, прыгая по двору, чтобы согреться, оглушительно хлопал рукавицами.

— Не бей голиц, за них деньги даны, — строго кричал дед. — Сдача есть?

— Нету.

Дед медленно обходил вокруг воза и говорил негромко:

— Опять что-то много ты привёз. Гляди, однако, — не без денег ли покупал? У меня чтобы не было этого.

И уходил быстро, сморщив лицо.

Дядья весело бросались к возу и, взвешивая на руках птицу, рыбу, гусиные потроха, телячьи ноги, огромные куски мяса, посвистывали, одобрительно шумели.

— Ну, ловко отобрал!

Дядя Михаил особенно восхищался: пружинисто прыгал вокруг воза, принюхиваясь ко всему носом дятла, вкусно чмокая губами, сладко жмуря беспокойные глаза, сухой, похожий на отца, но выше его ростом и чёрный, как головня. Спрятав озябшие руки в рукава, он расспрашивал Цыганка:

— Тебе отец сколько дал?

— Пять целковых.

— А тут на пятнадцать. А сколько ты потратил?

— Четыре с гривной.

— Стало быть, девять гривен в кармане. Видал, Яков, как деньги растут?

Дядя Яков, стоя на морозе в одной рубаше, тихонько посмеивался, моргая в синее холодное небо.

— Ты нам, Ванька, по косушке поставь, — лениво говорит он.

Бабушка распрягала коня.

— Что, дитятко? Что, котёнок? Пошалить охота? Ну, побалуй, богова забава!

Огромный Шарап, взмахивая густою гривой, цапал её белыми зубами за плечо, срывал шёлковую головку с волос, заглядывал в лицо ей весёлым глазом и, встряхивая иней с ресниц, тихонько ржал.

— Хлебца просишь?

Она совала в зубы ему большую краюху, круто посоленную, мешком подставляла передник под морду и смотрела задумчиво, как он ест.

Цыганок, играючи тоже, как молодой конь, подскочил к ней.

— Уж так, бабаня, хорош мерин, так умён...

— Поди прочь, не верти хвостом! — крикнула бабушка, притопнув ногою. — Знаешь, что не люблю я тебя в этот день.

Она объяснила мне, что Цыганок не столько покупает на базаре, сколько ворует.

— Даст ему дед пятишницу, он на три рубля купит, а на десять украдёт, — невесело говорила она. — Любит воровать, баловник! Раз попробовал — ладно вышло, а дома посмеялись, похвалили за удачу, он и взял воровство в обычай. А дедушка смолodu бедности-горя досыта отведал — под старость жаден стал, ему деньги дороже детей кровных, он рад даровщине! А Михайло с Яковым...

Махнув рукой, она замолчала на минуту, потом, глядя в открытую табакерку, прибавила ворчливо:

— Тут, Лёня, дела-кружева, а плела их слепая баба, где уж нам узор разобрать! Вот поймают Иванку на воровстве — забьют до смерти...

И ещё, помолчав, она тихонько сказала:

— Эхе-хе! Правил у нас много, а правды нет...

На другой день я стал просить Цыганка, чтоб он не воровал больше.

— А то тебя будут бить до смерти...

— Не достигнут, — вывернусь: я ловкий, конь резвый! — сказал он, усмехаясь, но тотчас грустно нахмурился. — Ведь я знаю: воровать нехорошо и опасно. Это я так себе, от скуки. И денег я не коплю, дядя твои за неделю-то всё у меня выманят. Мне не жаль, берите! Я сыт. Он вдруг взял меня на руки, потряс тихонько.

— Лёгкий ты, тонкий, а кости крепкие, силач будешь. Ты знаешь что: учись на гитаре играть, проси дядю Якова, ей-богу! Мал ты ещё, вот незадача! Мал ты, а сердитый. Дедушку-то не любишь?

— Не знаю.

— А я всех Кашириных, кроме бабани, не люблю, пускай их демон любит!

— А меня?

— Ты — не Каширин, ты — Пешков, другая кровь, другое племя...

И вдруг, стиснув меня крепко, он почти застонал:

— Эх, кабы голос мне певучий, ух ты, господи! Вот ожёг бы я народ... Иди, брат, работать надо...

Он спустил меня на пол, всыпал в рот себе горсть мелких гвоздей и стал натягивать, набивать на большую квадратную доску сырое полотнище чёрной материи.

Вскоре он погиб.

Случилось это так: на дворе, у ворот, лежал, прислонён к забору, большой дубовый крест с толстым суковатым комлем¹.

¹ *Кóмель* — толстый конец бревна.

Лежал он давно. Я заметил его в первые же дни жизни в доме, — тогда он был новее и желтей, но за осень сильно почернел под дождями. От него горько пахло морёным дубом, и был он на тесном, грязном дворе лишний.

Его купил дядя Яков, чтобы поставить над могилою своей жены, и дал обет отнести крест на своих плечах до кладбища в годовщину смерти её.

Этот день наступил в субботу, в начале зимы; было морозно и ветрено, с крыш сыпался снег. Все из дома вышли на двор, дед и бабушка с тремя внучатами ещё раньше уехали на кладбище служить панихиду; меня оставили дома в наказание за какие-то грехи.

Дядя, в одинаковых чёрных полушубках, приподняли крест с земли и встали под крылья; Григорий и какой-то чужой человек, с трудом подняв тяжёлый комель, положили его на широкое плечо Цыганка; он пошатнулся, расставил ноги.

— Не сдюжишь? — спросил Григорий.

— Не знаю. Тяжело будто...

Дядя Михаил сердито закричал:

— Отворяй ворота, слепой чёрт!

А дядя Яков сказал:

— Стыдись, Ванька, мы оба жиже тебя!

Но Григорий, распахивая ворота, строго посоветовал Ивану:

— Гляди же, не перемагайся! Пошли с богом!

— Плешивая дура! — крикнул дядя Михаил с улицы.

Все, кто был на дворе, усмехнулись, заговорили громко, как будто всем понравилось, что крест унесли.

Григорий Иванович, ведя меня за руку в мастерскую, говорил:

— Может, сегодня дедушка не посечёт тебя, — ласково глядит он...

В мастерской, усадив меня на груду приготовленной в краску шерсти и заботливо окутав ею до плеч, он, понюхивая восходивший над котлами пар, задумчиво говорил:

— Я, милый, тридцать семь лет дедушку знаю, в начале дела видел и в конце гляжу. Мы с ним раньше дружки-приятели были, вместе это дело начали, придумали. Он умный, дедушка! Вот он хозяином поставил себя, а я не сумел. Господь, однако, всех нас умнее: он только улыбнётся, а самый премудрый человек уж и в дураках мигает. Ты ещё не понимаешь, что к чему говорится, к чему делается, а надобно тебе всё понимать. Сиротское житьё трудное. Отец твой, Максим Савватеевич, козырь был, он всё понимал, — за то дедушка и не любил его, не признавал.

Было приятно слушать добрые слова, глядя, как играет в печи красный и золотой огонь, как над котлами вздымаются молочные облака пара, оседая сизым инеем на досках косой крыши, — сквозь мохнатые щели её видны голубые ленты неба. Ветер стал тише, где-то светит солнце, весь двор словно стеклянной пылью посыпан, на улице взвизгивают полозья саней, голубой дым вьётся из труб дома, лёгкие тени скользят по снегу, тоже что-то рассказывая.

Длинный, костлявый Григорий, бородатый, без шапки, с большими ушами, точно добрый колдун, мешает кипящую краску и всё учит меня:

— Гляди всем прямо в глаза; собака на тебя бросится, и ей тоже, отстанет...

Тяжёлые очки надавили ему переносье, конец носа налился синей кровью и похож на бабушкин.

— Стой-ко? — вдруг сказал он, прислушиваясь, потом прикрыл ногою дверцу печи и прыжками побежал по двору. Я тоже бросился за ним.

В кухне, среди пола, лежал Цыганок, вверх лицом; широкие полосы света из окон падали ему одна на голову, на грудь, другая — на ноги. Лоб его странно светился; брови высоко поднялись; косые глаза пристально смотрели в чёрный потолок; тёмные губы, вздрагивая, выпускали розовые пузыри; из углов губ, по щекам, на шею и на пол стекала кровь; она текла густыми ручьями из-под спины. Ноги Ивана неуклюже

развалились, и видно было, что шаровары мокрые; они тяжело приклеились к половицам. Пол был чисто вымыт с дресвою¹. Он солнечно блестел. Ручьи крови пересекали полосы света и тянулись к порогу, очень яркие.

Цыганок не двигался, только пальцы рук, вытянутых вдоль тела, шевелились, царапаясь за пол, и блестели на солнце окрашенные ногти.

Нянька Евгенья, присев на корточки, вставляла в руку Ивана тонкую свечу; Иван не держал её, свеча падала, кисточка огня тонула в крови; нянька, подняв её, отирала концом запона и снова пыталась укрепить в беспокойных пальцах. В кухне плавал качающий шёпот; он, как ветер, толкал меня с порога, но я крепко держался за скобу двери.

— Споткнулся он, — каким-то серым голосом рассказывал дядя Яков, вздрагивая и крутя головою. Он весь был серый, измятый, глаза у него выцвели и часто мигали.

— Упал, а его и придавило, — в спину ударило. И нас бы покалечило, да мы вовремя сбросили крест.

— Вы его и задавили, — глухо сказал Григорий.

— Да, — как же...

— Вы!

Кровь всё текла, под порогом она уже собралась в лужу, потемнела и как будто поднималась вверх. Выпуская розовую пену, Цыганок мычал, как во сне, и таял, становился всё более плоским, приклеиваясь к полу, уходя в него.

— Михайло в церковь погнал на лошади за отцом, — шептал дядя Яков, — а я на извозчика навалил его да скорее сюда уж... Хорошо, что не сам я под комель-то встал, а то бы вот...

Нянька снова прикрепляла свечу к руке Цыганка, капала на ладонь ему воском и слезами.

Григорий громко и грубо сказал:

— Да ты в головах к полу прилепи, чуваша!

— И то.

¹ Дресва́ — аналог щебня и песка.

— Шапку-то сними с него!

Нянька стянула с головы Ивана шапку; он тупо стукнулся затылком. Теперь голова его сбочилась, и кровь потекла обильней, но уже с одной стороны рта. Это продолжалось ужасно долго. Сначала я ждал, что Цыганок отдохнёт, поднимется, сядет на полу и, сплюнув, скажет:

— Ф-фу, жарынь...

Так делал он, когда просыпался по воскресеньям, после обеда. Но он не вставал, всё таял. Солнце уже отошло от него, светлые полосы укоротились и лежали только на подоконниках. Весь он потемнел, уже не шевелил пальцами, и пена на губах исчезла. За теменем и около ушей его торчали три свечи, помахивая золотыми кисточками, освещая лохматые, досиня-чёрные волосы, жёлтые зайчики дрожали на смуглых щеках, светился кончик острого носа и розовые губы.

Нянька, стоя на коленях, плакала, прищёпывая:

— Голубчик ты мой, ястребёнок утешный...

Было жутко, холодно. Я залез под стол и спрятался там. Потом в кухню тяжко ввалился дед в енотовой шубе, бабушка в салопе¹ с хвостами на воротнике, дядя Михаил, дети и много чужих людей. Сбросив шубу на пол, дед закричал:

— Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток...

На пол валилась одежда, мешая мне видеть Ивана; я вылез, попал под ноги деда. Он отшвырнул меня прочь, грозя дядьям маленьким красным кулаком:

— Волки!

И сел на скамью, упёршись в неё руками, сухо всхлипывая, говоря скрипучим голосом:

— Знаю я — он вам поперёк глоток стоял... Эх, Ванюшечка... дурачок! Что поделаешь, а? Что — говорю — поделаешь? Кони — чужие, вожжи — гнилые. Мать, невзлюбил нас Господь за последние года, а? Мать?

¹ Салоп — верхняя женская одежда.

Распластавшись на полу, бабушка щупала руками лицо, голову, грудь Ивана, дышала в глаза ему, хватала за руки, мяла их и повалила все свечи. Потом она тяжело поднялась на ноги, чёрная вся, в чёрном блестящем платье, страшно вытаращила глаза и сказала негромко:

— Вон, окаянные!

Все, кроме деда, высыпались из кухни.

...Цыганка похоронили незаметно, непамятно.



1. Какое место занимал Цыганок в доме Кашириных? Расскажите историю Цыганка: как он появился у Кашириных, чем занимался, как к нему относились другие жители дома. Почему Цыганка редко называли по имени? Какую характеристику ему дали дед и бабушка?
2. В каких эпизодах показаны одарённость и талантливость Цыганка? Расскажите о его забавах.
3. Почему Алёша полюбил Цыганка и «удивлялся ему до немоты»? Какое влияние оказал Цыганок на Алёшу?

IV

Я лежу на широкой кровати, вчетверо окутан тяжёлым одеялом, и слушаю, как бабушка молится Богу, стоя на коленях, прижав одну руку к груди, другою неторопливо и нечасто крестясь.

На дворе стреляет мороз; зеленоватый лунный свет смотрит сквозь узорные — во льду — стёкла окна, хорошо осветив доброе носатое лицо и зажигая тёмные глаза фосфорическим огнём. Шёлковая головка, прикрыв волосы бабушки, блестит, точно кованая, тёмное платье шевелится, струится с плеч, расстилаясь по полу.

Кончив молитву, бабушка молча разденется, аккуратно сложит одежду на сундук в углу и подойдёт к постели, а я притворяюсь, что крепко уснул.

— Ведь врёшь, поди, разбойник, не спишь? — тихонько говорит она. — Не спишь, мол, голуба душа? Ну-ко, давай одеяло!

Предвкушая дальнейшее, я не могу сдержать улыбки; тогда она рычит:

— А-а, так ты над бабушкой-старухой шутики шутить затеял!

Взяв одеяло за край, она так ловко и сильно дёргает его к себе, что я подсакиваю в воздухе и, несколько раз перевернувшись, шлёпаюсь в мягкую перину, а она хохочет:

— Что, редькин сын? Съел комара?

Но иногда она молится очень долго, я действительно засыпаю и уже не слышу, как она ложится.

Долгие молитвы всегда завершают дни огорчений, ссор и драк; слушать их очень интересно; бабушка подробно рассказывает Богу обо всём, что случилось в доме; грузно, большим холмом стоит на коленях и сначала шепчет невнятно, быстро, а потом густо ворчит:

— Ты, Господи, сам знаешь, — всякому хочется, что лучше. Михайло-то старшой, ему бы в городе-то надо остаться, за реку ехать обидно ему, и место там новое, неиспытанное, что будет — неведомо. А отец — он Якова больше любит. Али хорошо — неровно-то детей любить? Упрям старик — ты бы, Господи, вразумил его.

Глядя на тёмные иконы большими светящимися глазами, она советует Богу своему:

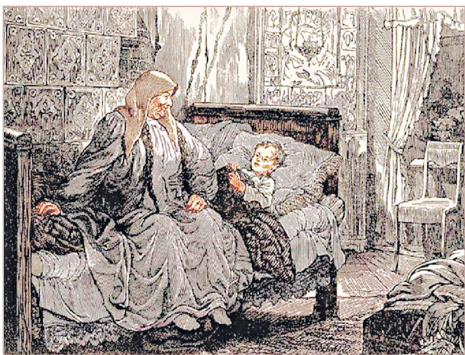
— Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!

Крестится, кланяется в землю, стучаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живёт. И вспомяни, Господи, Григорья, — глаза-то у него всё хуже. Слепнет — по миру пойдёт, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О, Господи, Господи...



Ил. Б. А. Дехтерёва



Ил. Б. А. Дехтерёва

Она долго молчит, покорно опустив голову и руки, точно уснула крепко, замёрзла.

— Что ещё? — вслух вспоминает она, приморщив брови. — Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, — ты знаешь: не со зла грешу, а по глупому разуму.

И, глубоко вздохнув, она говорит ласково, удовлетворённо:

— Всё ты, родимый, знаешь, всё тебе, батюшка, ведомо.

Мне очень нравился бабушкин Бог, такой близкий ей, и я часто просил её:

— Расскажи про Бога!

Она говорила о нём особенно: очень тихо, странно растягивая слова, прикрыв глаза и непременно сидя; приподнимется, сядет, накинёт на простоволосую голову платок и заведёт надолго, пока не заснёшь:

— Сидит Господь на холме, среди луга райского, на престоле синя камня яхонта, под серебряными липами, а те липы цветут весь год кругом; нет в раю ни зимы, ни осени, и цветы никогда не вянут, так и цветут неустанно, в радость угодникам божьим. А около Господа ангелы летают во множестве, — как снег идёт али пчёлы роятся, — али бы белые голуби летают с неба на землю да опять на небо и обо всём Богу рассказывают про нас, про людей. Тут и твой, и мой, и дедушкин — каждому ангел дан, Господь ко всем равен. Вот твой ангел Господу приносит: «Лексей дедушке язык высунул!» А Господь и распорядится: «Ну, пускай старик посечёт его!» И так всё, про всех и всем он воздаёт по делам — кому горем, кому радостью. И так всё это хорошо у него, что ангелы веселятся, плещут крыльями и поют ему бесперечь: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» А он, милый, только улыбается им — дескать, ладно уж!

И сама она улыбается, покачивая головою.

— Ты это видела?

— Не видала, а знаю! — отвечает она задумчиво.

Говоря о Боге, рае, ангелах, она становилась маленькой и кроткой, лицо её молодело, влажные глаза струили особенно тёплый свет. Я брал в руки тяжёлые атласные косы, обёртывал ими шею себе и, не двигаясь, чутко слушал бесконечные, никогда не надоедавшие рассказы.

— Бога видеть человеку не дано — ослепнешь; только святые глядят на него во весь глаз. А вот ангелов видела я; они показываются, когда душа чиста. Стояла я в церкви у ранней обедни, а в алтаре и ходят двое, как туманы, видно сквозь них всё, светлые, светлые, и крылья до полу, кружевные, кисейные. Ходят они кругом престола и отцу Илье помогают, старичку: он поднимет ветхие руки, Богу молясь, а они локотки его поддерживают. Он очень старенький был, слепой уж, тыкался обо всё и поспороности после того успел, скончался. Я тогда, как увидела их, — обмерла от радости, сердце заныло, слёзы катятся, — ох, хорошо было! Ой, Лёнька, голуба душа, хорошо всё у Бога на небе и на земле, так хорошо...

— А у нас хорошо разве?

Осенив себя крестом, бабушка ответила:

— Слава Пресвятой Богородице, — всё хорошо!

Это меня смущало: трудно было признать, что в доме всё хорошо; мне казалось, в нём живётся хуже и хуже. Однажды, проходя мимо двери в комнату дяди Михаила, я видел, как тётка Наталья, вся в белом, прижав руки ко груди, металась по комнате, вскрикивая негромко, но страшно:

— Господи, приberi меня, уведи меня...

Молитва её была мне понятна, и я понимал Григория, когда он ворчал:

— Ослепну, по миру пойду, и то лучше будет...

Мне хотелось, чтобы он ослеп скорее, — я попросился бы в поводыри к нему, и ходили бы мы по миру вместе. Я уже говорил ему об этом; мастер, усмехаясь в бороду, ответил:

— Вот и ладно, и пойдём! А я буду оглашать в городе: это вот Василья Каширина, цехового старшины, внук, от дочери! Занятно будет...

Не однажды я видел под пустыми глазами тётки Натальи синие опухоли, на жёлтом лице её — вспухшие губы. Я спрашивал бабушку:

— Дядя бьёт её?

Вздыхая, она отвечала:

— Бьёт тихонько, анафема проклятый! Дедушка не велит бить её, так он по ночам. Злой он, а она — кисель...

И рассказывает, воодушевляясь:

— Всё-таки теперь уж не бьют так, как бивали! Ну, в зубы ударит, в ухо, за косы минуту потреплет, а ведь раньше-то часами истязали! Меня дедушка однова бил на первый день Пасхи от обедни до вечера. Побьёт — устанет, а отдохнув — опять. И вожжами, и всяко.

— За что?

— Не помню уж. А вдругорядь он меня избил до полусмерти да пятеро суток есть не давал, — еле выжила тогда. А то ещё...

Это удивляло меня до онемения: бабушка была вдвое крупнее деда, и не верилось, что он может одолеть её.

— Разве он сильнее тебя?

— Не сильнее, а старше! Кроме того — муж! За меня с него Бог спросит, а мне заказано терпеть...

Интересно и приятно было видеть, как она оттирала пыль с икон, чистила ризы; иконы были богатые, в жемчугах, серебре и цветных камнях по венчикам; она брала ловкими руками икону, улыбаясь, смотрела на неё и говорила умиленно:

— Эко милое личико!..

Перекрестясь, целовала.

— Запылилася, окоптела, — ах ты, Мать Всепомощная, Радость Неизбывная! Гляди, Лёня, голуба душа, письмо какое тонкое, фигурки-то махонькие, а всякая отдельно стоит. Зовётся это Двенадцать праздников, в середине же Божия Матерь

Феодоровская, предобрая. А это вот — Не рыдай мене, мати, зряще во гробе...

Иногда мне казалось, что она так же задушевно и серьёзно играет в иконы, как пришибленная сестра Катерина — в куклы.

Она нередко видала чертей, во множестве и в одиночку.

— Иду как-то Великим постом, ночью, мимо Рудольфова дома; ночь лунная, молосная, вдруг вижу: верхом на крыше, около трубы, сидит чёрный, нагнул рогатую-то голову над трубой и нюхает, фыркает, большой, лохматый. Нюхает да хвостом по крыше и возит, шаркает. Я перекрестила его: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его», — говорю. Тут он взвизгнул тихонько и соскользнул кувырком с крыши-то во двор, — расточился! Должно, скоромное варили Рудольфы в этот день, он и нюхал, радуясь...

Я смеюсь, представляя, как чёрт летит кувырком с крыши, и она тоже смеётся, говоря:

— Очень они любят озорство, совсем как малые дети! Вот однажды стирала я в бане, и дошло время до полуночи; вдруг дверца каменки как отскочит! И посыпались оттуда они, мал мала меньше, красненькие, зелёные, чёрные, как тараканы. Я — к двери, — нет ходу; увязла средь бесов, всю баню забили они, повернуться нельзя, под ноги лезут, дёргают, сжали так, что и окститься¹ не могу! Мохнатенькие, мягкие, горячие, вроде котят, только на задних лапах все; кружатся, озоруют, зубёнки мышинные скалят, глазишки-то зелёные, рога чуть пробились, шишечками торчат, хвостики пороссячьи — ох ты, батюшки! Лишилась памяти ведь! А как воротилась в себя — свеча еле горит, корыто простыло, стиранное на пол брошено. Ах вы, думаю, раздуй вас горой!

Закрыв глаза, я вижу, как из жерла каменки, с её серых булыжников густым потоком льются мохнатые, пёстрые твари, наполняют маленькую баню, дуют на свечу, высовывают озорниково-розовые языки. Это тоже смешно, но и жутко.

¹ *Окститься* (устар.) — то же, что перекреститься.

Бабушка, качая головою, молчит минуту и вдруг снова точно вспыхнет вся.

— А то, проклятых, видела я; это тоже ночью, зимой, вьюга была. Иду я через Дюков овраг, где, помнишь, сказывала, отца-то твоего Яков да Михайло в проруби в пруде хотели утопить? Ну вот, иду; только скувырнулась по тропе вниз, на дно, ка-ак засвистит, загикает по оврагу! Гляжу, а на меня тройка вороных мчится, и дородный такой чёрт в красном колпаке колом торчит, правит ими, на облучок встал, руки вытянул, держит вожжи из кованых цепей. А по оврагу езды не было, и летит тройка прямо в пруд, снежным облаком прикрыта. И сидят в санях тоже всё черти; свистят, кричат, колпаками машут, — да эдак-то семь троек проскакало, как пожарные, и все кони вороной масти, и все они — люди, проклятые отцами-матерьюми; такие люди чертям на потеху идут, а те на них ездят, гоняют их по ночам в свои праздники разные. Это я, должно, свадьбу бесовскую видела...

Не верить бабушке нельзя — она говорит так просто, убедительно.

Но особенно хорошо сказывала она стихи о том, как Богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгалычёву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея Божия человека, про Ивана-воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе Посаднице, о Бабе Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника; сказок, былей и стихов она знала бесчисленно много.

Не боясь ни людей, ни деда, ни чертей, ни всякой иной нечистой силы, она до ужаса боялась чёрных тараканов, чувствуя их даже на большом расстоянии от себя. Бывало, разбудит меня ночью и шепчет:

— Олёша, милый, таракан лезет, задави. Христа ради!

Сонный, я зажигал свечу и ползал по полу, отыскивая врага; это не сразу и не всегда удавалось мне.

— Нет нигде, — говорил я, а она, лёжа неподвижно, с головой закутавшись одеялом, чуть слышно просила:

— Ой, есть! Ну, поищи, прошу тебя! Тут он, я уж знаю...

Она никогда не ошибалась — я находил таракана где-нибудь далеко от кровати.

— Убил? Ну, слава богу! А тебе спасибо...

И, сбросив одеяло с головы, облегчённо вздыхала, улыбаясь.

Если я не находил насекомое, она не могла уснуть; я чувствовал, как вздрагивает её тело при малейшем шорохе в ночной, мёртвой тишине, и слышал, что она, задерживая дыхание, шепчет:

— Около порога он... под сундук пополз...

— Отчего ты боишься тараканов?

Она резонно отвечала:

— А непонятно мне — на что они? Ползают и ползают, чёрные. Господь всякой тле свою задачу задал: мокрица показывает, что в доме сырость; клоп — значит, стены грязные; вошь нападает — нездоров будет человек, — всё понятно! А эти — кто знает, какая в них сила живёт, на что они насылаются?

Однажды, когда она стояла на коленях, сердечно беседуя с Богом, дед, распахнув дверь в комнату, сильным голосом сказал:

— Ну, мать, посетил нас Господь, — горим!

— Да что ты! — крикнула бабушка, вскинувшись с пола, и оба, тяжело топая, бросились в темноту большой парадной комнаты.

— Евгенья, снимай иконы! Наталья, одевай ребят! — строго, крепким голосом командовала бабушка, а дед тихонько выл:

— И-и-ы...

Я выбежал в кухню; окно на двор сверкало, точно золотое; по полу текли-скользили жёлтые пятна; босой дядя Яков, обувая сапоги, прыгал на них, точно ему жгло подошвы, и кричал:

— Это Мишка поджжёт, поджжёт да ушёл, ага!

— Цыц, пёс, — сказала бабушка, толкнув его к двери так, что он едва не упал.

Сквозь иней на стёклах было видно, как горит крыша мастерской, а за открытой дверью её вихрится кудрявый огонь. В тихой ночи красные цветы его цвели бездымно; лишь очень высоко над ними колебалось темноватое облако, не мешая видеть серебряный поток Млечного Пути. Багрово светился снег, и стены построек дрожали, качались, как будто стремясь в жаркий угол двора, где весело играл огонь, заливая красным широкие щели в стене мастерской, высовываясь из них раскалёнными кривыми гвоздями. По тёмным доскам сухой крыши, быстро опутывая её, извивались золотые, красные ленты; среди них крикливо торчала и курилась дымом гончарная тонкая труба; тихий треск, шёлковый шелест бился в стёкла окна; огонь всё разрастался; мастерская, изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к себе.

Накинув на голову тяжёлый полушубок, сунув ноги в чьи-то сапоги, я выволокся в сени, на крыльцо и обомлел, ослеплённый яркой игрою огня, оглушённый криками деда, Григория, дяди, треском пожара, испуганный поведением бабушки: накинув на голову пустой мешок, обернувшись попой¹, она бежала прямо в огонь и сунулась в него, вскрикивая:

— Купорос, дураки! Взорвёт купорос...

— Григорий, держи её! — выл дедушка. — Ой, пропала...

Но бабушка уже вынырнула, вся дымясь, мотая головой, согнувшись, неся на вытянутых руках ведёрную бутылку купоросного масла.

— Отец, лошадь выведи! — хрипя, кашляя, кричала она. — Снимите с плеч-то, — горю, али не видно!..

Григорий сорвал с плеч её тлевшую попону и, переламываясь пополам, стал метать лопатой в дверь мастерской большие комья снега; дядя прыгал около него с топором в руках, дед

¹ *Попóна* — покрывало для лошадей.

бежал около бабушки, бросая в неё снегом; она сунула бутылку в сугроб, бросилась к воротам, отворила их и, кланяясь вбежавшим людям, говорила:

— Амбар, соседи, отстаивайте! Перекинется огонь на амбар, на сеновал, — наше всё дотла сгорит и ваше займётся! Рубите крышу, сено — в сад! Григорий, сверху бросай, что ты на землю-то мечешь! Яков, не суетись, давай топоры людям, лопаты! Батюшки-соседи, беритесь дружной, — Бог вам на помощь.

Она была так же интересна, как и пожар: освещаемая огнём, который словно ловил её, чёрную, она металась по двору, всюду поспевая, всем распоряжаясь, всё видя.

На двор выбежал Шарап, вскидываясь на дыбы, подбрасывая деда; огонь ударил в его большие глаза, они красно сверкнули; лошадь захрапела, упёрлась передними ногами; дедушка выпустил повод из рук и отпрыгнул, крикнув:

— Мать, держи!

Она бросилась под ноги взвившегося коня, встала пред ним крестом; конь жалобно заржал, потянулся к ней, косясь на пламя.

— А ты не бойся! — басом сказала бабушка, похлопывая его по шее и взяв повод. — Али я тебя оставлю в страхе этом? Ох ты, мышонок...

Мышонок, втрое больший её, покорно шёл за нею к воротам и фыркал, оглядывая красное её лицо.

Нянька Евгенья вывела из дома закутанных, глухо мычавших детей и закричала:

— Василий Васильич, Лексея нет...

— Пошла, пошла! — ответил дедушка, махая рукой, а я спрятался под ступени крыльца, чтобы нянька не увела и меня.

Крыша мастерской уже провалилась; торчали в небо тонкие жерди



Ил. Б. А. Дехтерёва

стропил, курясь дымом, сверкая золотом углей; внутри постройки с воем и треском взрывались зелёные, синие, красные вихри, пламя снопами выкидывалось на двор, на людей, толпившихся пред огромным костром, кидая в него снег лопатами. В огне яростно кипели котлы, густым облаком поднимался пар и дым, странные запахи носились по двору, выжимая слёзы из глаз; я выбрался из-под крыльца и попал под ноги бабушке.

— Уйди! — крикнула она. — Задавят, уйди...

На двор ворвался верховой в медной шапке с гребнем. Рыжая лошадь брызгала пеной, а он, высоко подняв руку с плёткой, орал, грозя:

— Раздайсь!

Весело и торопливо звенели колокольчики, всё было празднично красиво. Бабушка толкнула меня на крыльцо:

— Я кому говорю? Уйди!

Нельзя было не послушать её в этот час. Я ушёл в кухню, снова прильнул к стеклу окна, но за тёмной кучей людей уже не видно огня, — только медные шлемы сверкают среди зимних чёрных шапок и картузов.

Огонь быстро придавили к земле, залили, затоптали, полиция разогнала народ, и в кухню вошла бабушка.

— Это кто? Ты-и? Не спишь, боишься? Не бойся, всё уже кончилось...

Села рядом со мною и замолчала, покачиваясь. Было хорошо, что снова воротилась тихая ночь, темнота; но и огня было жалко.

Дед вошёл, остановился у порога и спросил:

— Мать?

— Ой?

— Обожглась?

— Ничего.

Он зажёл серную спичку, осветив синим огнём своё лицо хоряка, измазанное сажей, высмотрел свечу на столе и, не торопясь, сел рядом с бабушкой.

— Умылся бы, — сказала она, тоже вся в саже, пропахшая едким дымом.

Дед вздохнул:

— Милостив Господь бывает до тебя, большой тебе разум даёт...

И, погладив её по плечу, добавил, оскалив зубы:

— На краткое время, на час, а даёт!..

Бабушка тоже усмехнулась, хотела что-то сказать, но дед нахмурился.

— Григория рассчитать надо — это его недосмотр! Отработал мужик, отжил! На крыльце Яшка сидит, плачет, дурак... Пошла бы ты к нему...

Она встала и ушла, держа руку перед лицом, дую на пальцы, а дед, не глядя на меня, тихо спросил:

— Весь пожар видел, с начала? Бабушка-то как, а? Старуха ведь... Бита, ломана... То-то же! Эх вы-и...

Согнулся и долго молчал, потом встал и, снимая нагар со свечи пальцами, снова спросил:

— Боялся ты?

— Нет.

— И нечего бояться...

Сердито сдёрнув с плеч рубаху, он пошёл в угол, к ручейнику, и там, в темноте, топнув ногою, громко сказал:

— Пожар — глупость! За пожар кнутом на площади надо бить погорельца; он — дурак, а то — вор! Вот как надо делать, и не будет пожаров!.. Ступай спи. Чего сидишь?

Я ушёл, но спать в эту ночь не удалось: только что лёг в постель, — меня вышвырнул из неё нечеловеческий вой; я снова бросился в кухню; среди неё стоял дед без рубахи, со свечой в руках; свеча дрожала, он шаркал ногами по полу и, не сходя с места, хрипел:

— Мать, Яков, что это?

Я вскочил на печь, забился в угол, а в доме снова началась суетня, как на пожаре; волною бился в потолок и стены размеренный, всё более громкий, надсадный вой. Ошалело бегали

дед и дядя, кричала бабушка, выгоняя их куда-то; Григорий грохотал дровами, набивая их в печь, наливал воду в чугуны и ходил по кухне, качая головою, точно астраханский верблюд.

— Да ты затопи сначала печь-то! — командовала бабушка.

Он бросился за лучиной, нащупал мою ногу и беспокойно крикнул:

— Кто тут? Фу, испугал... Везде ты, где не надо...

— Что это делается?

— Тётка Наталья родит, — равнодушно сказал он, спрыгнув на пол.

Мне вспомнилось, что мать моя не кричала так, когда родила.

Поставив чугуны в огонь, Григорий влез ко мне на печь и, вынув из кармана глиняную трубку, показал мне её.

— Курить начинаю, для глаз! Бабушка советует: нюхай, а я считаю лучше курить...

Он сидел на краю печи, свесив ноги, глядя вниз, на бедный огонь свечи; ухо и щека его были измазаны сажей, рубаха на боку изорвана, я видел его рёбра, широкие, как обручи. Одно стекло очков было разбито, почти половинка стекла вывалилась из ободка, и в дыру смотрел красный глаз, мокрый, точно рана. Набивая трубку листовым табаком, он прислушивался к стонам роженицы и бормотал бессвязно, напоминая пьяного:

— Бабушка-то обожглась-таки. Как она принимать будет? Ишь как стенает тётка! Забыли про неё; она, слышь, ещё в самом начале пожара корчиться стала — с испугу... Вот оно как трудно человека родить, а баб не уважают! Ты запомни: баб надо уважать, матерей то есть...

Я дремал и просыпался от возни, хлопанья дверей, пьяных криков дяди Михаила; в уши лезли странные слова:

— Царские двери отворить надо...

— Дайте ей масла лампадного с ромом да сажу: полстакана масла, полстакана рому да ложку столовую сажу...

Дядя Михайло назойливо просил:

— Пустите меня поглядеть...

Он сидел на полу, растопырив ноги, и плевал перед собою, шлёпая ладонями по полу. На печи стало нестерпимо жарко, я слез, но когда поравнялся с дядей, он поймал меня за ногу, дёрнул, и я упал, ударившись затылком.

— Дурак, — сказал я ему.

Он вскочил на ноги, снова схватил меня и взревел, размахнувшись мною:

— Расшибу об печку...

Очнулся я в парадной комнате, в углу, под образами, на коленях у деда; глядя в потолок, он покачивал меня и говорил негромко:

— Оправдания же нам нет, никому...

Над головой его ярко горела лампада, на столе, среди комнаты, — свеча, а в окно уже смотрело мутное зимнее утро.

Дед спросил, наклонясь ко мне:

— Что болит?

Всё болело: голова у меня была мокрая, тело тяжёлое, но не хотелось говорить об этом, — всё кругом было так странно: почти на всех стульях комнаты сидели чужие люди: священник в лиловом, седой старичок в очках и военном платье и ещё много; все они сидели неподвижно, как деревянные, застыв в ожидании, и слушали плеск воды где-то близко. У косяка двери стоял дядя Яков, вытянувшись, спрятав руки за спину. Дед сказал ему:

— На-ко, отведи этого спать...

Дядя поманил меня пальцем и пошёл на цыпочках к двери бабушкиной комнаты, а когда я влез на кровать, он шепнул:

— Умерла тётка-то Наталья...

Это не удивило меня — она уже давно жила невидимо, не выходя в кухню, к столу.

— А где бабушка?

— Там, — ответил дядя, махнув рукою, и ушёл всё так же на пальцах босых ног.

Я лежал на кровати, оглядываясь. К стёклам окна прижались чьи-то волосатые, седые, слепые лица; в углу, над

сундуком, висит платье бабушки, — я это знал, — но теперь казалось, что там притаился кто-то живой и ждёт. Спрятав голову под подушку, я смотрел одним глазом на дверь; хотелось выскочить из перины и бежать. Было жарко, душил густой тяжёлый запах, напоминая, как умирал Цыганок и по полу растекались ручьи крови; в голове или сердце росла какая-то опухоль; всё, что я видел в этом доме, тянулось сквозь меня, как зимний обоз по улице, и давило, уничтожало...

Дверь очень медленно открылась, в комнату вползла бабушка, притворила дверь плечом, прислонилась к ней спиной и, протянув руки к синему огоньку неугасимой лампы, тихо, по-детски жалобно, сказала:

— Рученьки мои, рученьки больно...



1. Какое несчастье обрушилось на Кашириных в главе IV? Почему случился пожар?

2. Сравните поведение деда и бабушки во время пожара. Обратите внимание на авторские комментарии. Почему бабушка была «интересна, как пожар»?

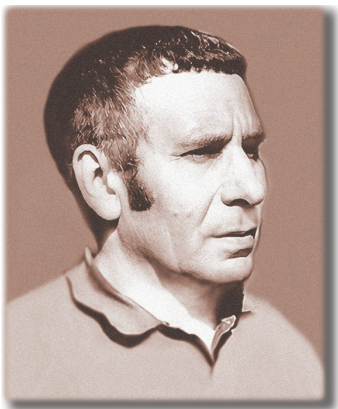


3. Почему Горький хотел назвать повесть «Бабушка»? Какое место в жизни Алёши заняла бабушка? Ответьте словами из повести. В каких эпизодах ярче всего раскрывается характер Акулины Ивановны? Прочитайте наиболее яркие отрывки из текста. Отметьте, какие художественные приёмы использует автор в описании бабушки. Напишите план характеристики бабушки.

4. Рассмотрите иллюстрации, на которых изображена бабушка (с. 123, 124, 131, форзац 2). Подберите из текста повести соответствующие им строки. Совпадает ли ваше представление о героине с тем образом, который создали художники? Какие детали в комнате (см. форзац 2) помогают понять, что она принадлежит бабушке? Что ещё вы добавили бы к музейной экспозиции?



5. Максим Горький писал о своём произведении: «Главная тема повести говорит о том, что в недрах старого, отмирающего мира зарождается новое, светлое, жизнеутверждающее начало, и это новое прекрасно». Найдите созвучные строки в тексте повести. Чем «изумительна жизнь наша»?



Владимир Осипович БОГОМОЛОВ

(1926—2003)

В. О. Богомоллов родился в маленькой подмосковной деревушке Кирилловке. Мальчика воспитывал дед. Он стоял у верстака, пилил, строгал, всё умел и ко всему приучал внука. Это подготовило будущего писателя к жизни и армии.

В начале Великой Отечественной войны Богомоллов ушёл на фронт и был воспитанником полка. В 1941 году получил первое офицерское звание. Богомоллов принимал участие в боевых действиях в Подмоскowie, Украине, на Северном Кавказе, в Польше, Германии и Маньчжурии. Получил тяжёлое ранение в 1942 году. К концу войны стал капитаном и командовал ротой, был офицером разведки полка, хотя закончил всего семь классов школы. О доблести писателя говорят 6 боевых орденов и медалей.



Литературная биография писателя началась в 1958 году, когда была напечатана первая повесть «Иван».

Она принесла автору широкую известность. Иван Буслов не был похож на уже известных читателю «сыновей полка»¹: в свои 10—11 лет мальчик всецело принадлежал только войне. Повесть «Иван» переведена более чем на сорок языков мира и опубликована более двухсот раз. Произведение было экранизировано. В 1962 году режиссёр А. А. Тарковский снял кинофильм «Иваново детство».

¹ *Сын полка* — ребёнок, часто сирота, который воспитывался в действующей армии. Военская часть обеспечивала таких детей всем необходимым. Они могли участвовать в боях, могли иметь боевые награды.

ИВАН
(В сокращении)

1

В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улёгся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться... — Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плошки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении. — Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобратся и без меня.

Васильев зажёг сплюсненную сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с тёмной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, — у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нём были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему. — Кто ты такой?

Он подошёл, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных

глаз. Лицо у него было скуластое, темно-вато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределённого цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет, — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в тёплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и так же не торопясь вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну, что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев, — произнёс он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще всё объясняла. — Сейчас же сообщите в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки. — Ну а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вз-че сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивлённо и старался всё осмыслить.



Ил. И. И. Пчелко

Грязная рубашонка до бёдер и узкие короткие порты на нём были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья настороженно и отчуждённо, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя всё и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими рёбрами тельце, тёмное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я. — Ты что, стесняешься?

Он так же молча, повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем ещё ребёнок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинками на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне всё привезут.

— Вот как! — усомнился я. — А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было ещё спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынник, родинка. Повыше, над правой ло-

паткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелёными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. — Ваше дело доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него. — Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай — ты ещё мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчуждённо, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен, — сказал я раздражённо. — И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбычась, сосредоточенно.

— Откуда ты?.. — с трудом сдерживаясь, спросил я. — Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряжённого раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил. — А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И всё! За мной приедут! — убеждённо выкрикнул он.

— Может, ты всё-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нём знали? За войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нём непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я ещё сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает. — Я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нём было доложено «Волге»...

— Бондарев?.. — переспросил Маслов удивлённо. — Какой Бондарев? Майор из оперативного,веряющий, что ли?

Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там поверяющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требуется, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет, — невольно улыбаясь, сказал я. — Это мальчик... понимаете, мальчик лет двенадцати...

— Ты что, смеёшься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов. — Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела. — Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нём знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво. — И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял... — Я на мгновение замаялся. — Говорит, что с той стороны.

— «Говорит», — передразнил Маслов. — На ковре-самолёте? Он тебе плетёт, а ты и развесил уши. Приставь к нему часового! — приказал он. — И если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому, — вдруг решительно и громко произнёс мальчик, — он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и ещё больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов не прав. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе, — я доложил! Приказано посадить тебя в землянку, — приврал я, — и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню. — Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты ещё знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья — и сквозь зубы:

— Капитана Холина.

Холин — офицер разведывательного отдела штабарма — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, — не ответив, потребовал мальчишка, — или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял ещё с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать, — твёрдо заявил я, стараясь подавить волнение. — Я опять по поводу Бондарева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нём подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно, докладывай, — с каким-то безразличием сказал Маслов. — Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Несolidно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нём было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

— Ясно, — прервал меня Дунаев. — Ожидайте. Я доложу. Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой?.. Говорите с «Волгой», — сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. — Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке. — Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов о нём — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним, думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся поделикатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надёжным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

* * *

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом, — промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил

грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошёл к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть, — поспешно заверил я.

<...>

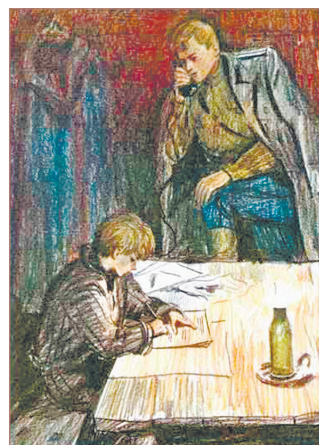
Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода, — не впустив никого в землянку, я сам занёс вёдра и казан¹, — а он всё ещё скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послунив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву...

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из вёдер, сделав её не такой горячей. Мальчишка начал мыться.



Ил. И. И. Пчелко

¹ *Казан* — большой котёл для приготовления пищи.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним, как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру, — не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был её надеть, — и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшённую кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел её, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчуждённость уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего допайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

<...> Мальчик забрался в мою постель и улёгся лицом к стенке, подложив ладошку под щёку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «создать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...



1. От чьего лица идёт повествование? Почему Гальцева считали мальчишкой?
2. Как познакомились Гальцев и Иван? Перечитайте по ролям их диалог (с. 138—146). Каким тоном и почему говорят оба героя?
3. Сравните два портрета мальчика (с. 138—139, 148). Что изменилось в его облике? Назовите наиболее важные детали, характеризующие внешность Ивана.
4. Какие чувства вызывает у рассказчика Иван? Составьте цепочку из слов, которая отражает смену чувств Гальцева (например, чувство — недоверие...).
5. Каким изображён Иван на иллюстрациях (с. 139, 147)? Удалось ли художнику подчеркнуть, что Иван не обычный ребёнок?

2

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в неё никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесён в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу — ракеты

взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплёрскивалась отрывистыми пулемётными очередями: по ночам немцы методично, — как говорил наш командир полка, «для профилактики», — каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завёл разговор о другом, но сам мыслями невольно всё время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плёс¹ Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели её? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть, — в этом рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже +15°, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а через широкие реки невозможна». Это если ниже +15°, а если примерно +5°?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда её не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

¹ Плёс — участок реки со спокойным течением.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером¹ и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулемётной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там с огольцом², разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил, стоя у пулемёта, и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночь последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде, — подтвердил другой не очень уверенно. — Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новосёлок, — неторопливо затянувшись, соврал я (Новосёлки было большое, наполовину сожжённое село километрах в четырёх за нами). — У него немцы мать угнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь. <...>

...Посидев с бойцами ещё, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блуждал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых.

¹ *Бруствер* — земляная насыпь на наружной стороне окопа, траншеи.

² *Оголец* — озорной мальчишка.

Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — лёгкий пар шёл изо рта.

— Ещё не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбуджу.

— А он дошёл?

— Кто он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошёл, — сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нём и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас не знаю. Нервеность во мне какая-то, — огорчённо признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей, — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждёт тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдёшь, — сказал мальчик, виновато улыбаясь. — Я плыл от Сосновки. Знаешь,

на серёдке выбился, да ещё судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что, вплавь?! — изумлённо вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху, и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и ещё ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... Не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу — мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он всё же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щёлкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шофёру, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нём была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастёрка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, тёмно-синие шаровары и аккуратные яловые¹ сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько, — только на гимнастёрке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

¹ Яловый — выделанный из мягкой и лёгкой кожи.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошёл, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство. — Давай ещё кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезённая им снедь: сало, копчёная колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дублённый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками, нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку <...>.

— Со свиданьем! — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался, — задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтоб ты поехал в Суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик. — А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твоё будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. <...>

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу, — вздохнул мальчик. — Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обёртках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну, не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул её, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на серёдку стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат, — отказался Холин. — После водки не в цвет.

— Тогда поехали, — вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол. — Подполковник ждёт меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедem, — с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить ещё мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место. — Сейчас поедem, — повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот чёрт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал, — словно оправдываясь, пояснил Холин. — Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками, поднял фляжку, поболтал ею, огорчённо посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько ж добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. — Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество, — отшутился Холин. — И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придётся... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошёл к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов, — тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — слышался совсем рядом, за моей спиной, хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.

Я обошёл кругом — никого не было. Шофёр «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошёл к землянке, ощупью нашёл дверь и приоткрыл её.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, слышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя, — заработал мотор, и «додж» тронулся.



1. Почему старшему лейтенанту Гальцеву и бойцам из охранения, «никак не верилось», «что маленький Бондарев с того берега»? На основании чего можно сделать вывод о раннем взрослении Ивана? Подтвердите словами из текста.
2. Кто такой Холин? Как он относится к Ивану? Что нового Гальцев узнал о мальчике из его разговора с Холиным?
3. В чём смысл тоста, который предложил Иван? В каких ещё деталях ощущается его взрослость?

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щёки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает:

— Может, ляжешь, отдохнёшь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное, — говорит мне Холин. — Журнальчик там или ещё что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.

Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно тёплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю её и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объёмистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан.

Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— ...Ты бы послушал, как шпрехает, — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В своё время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных,

уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошёл бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушёпотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне. «Клёвые тузики!» — шепчет он.

Вот черти — пронюхали! В батальоне пять рыбацких плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причём, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчётности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызёт леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту. Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живёшь, — замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу, — улыбаюсь я. — А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и оборачивается: — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда — пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остаётся совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться, — говорит мне Холин, — ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идём, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмёте? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали, — кивает на меня Холин, — охотничек! А зачем тебе на тот берег?.. — И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу, и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? По вертикали? — с самым серьёзным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае, не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывёшь?

— Раз пять, — говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время. — Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силё-ён мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроём смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катаонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьёзным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!.. — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите, — указывает на меня Холин, — завёлся с пол-оборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмём — что у нас, рук нет? А случ-чего позвоню комдиву, так ты её на своём горбу к реке припрёшь!

— Да будет вам, — вступается мальчик примиряюще. — Он и так даст. Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придётся, — натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идём посмотрим! — берёт меня за рукав Холин. — А ты здесь побудь, — говорит он мальчику. — Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристёгиваю к ремню финку¹ с наборной рукоятью.

— Ух и нож! — восхищённо восклицает мальчик, и глаза у него загораются. — Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... Это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моём лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из брёвен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнём артиллерии и миномётов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперёд!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек, — прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я ещё не решил, что сделаю с финкой: оставляю её себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулочек на Арбате и отдам нож Котькиным старикам как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю, — обещаю я мальчику.

¹ *Финка* — особый тип ножа.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. — Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев, — бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. — Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож, — обещает ему Катасонов, осмотрев финку. — Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я. — А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж, — соглашается наконец мальчик обидчивым голосом. — А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож и идём, — торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застёгивая ватник, вслух рассуждаю я. — Брать вы меня с собой не берёте, а где лодки, и без меня знаете.

— Идём, идём, — подталкивает меня Холин. — Я тебя возьму, — обещает он. — Только не сегодня.

Мы выходим втроём и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звёздочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестрёнка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось, — шепчет Холин. — Он и в партизанах был, и в Тростенце — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестрёнку, — трясётся весь. Я никогда не думал, что ребёнок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шёпотом:

— Мы тут два дня бились, — уговаривали его поехать в Суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и похорошему, и грозился. А в конце концов разрешил сходить с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришёл к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушёл. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была тёмная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удаётся. Он один даёт больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла. А проникнуть и легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять-десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удаётся. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирuşка, быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если бы ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено, если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновит его...

— Почему они, а не ты?

— Я бы взял, — шепчет Холин, вздыхая, — да подполковник против. Говорит, что меня самого ещё надо воспитывать! — усмехаясь, признаётся он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником. Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчишке он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где, заваленные ельником, хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борта. Затем

переворачивают каждую, усаживаются и, вставив вёсла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трёх-четырёх человек, не более.

— Вериги эти ни к чему. — Холин берётся за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо. — Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин. — Подайте!..

Мы «подаём» — он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идёт следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроём осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая вёслами — одним гребя, другим табаня¹, — разворачивает её то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт, так что того и гляди зальётся вода, потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клёвый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдёт, — соглашается Холин. — Он, оказывается, действительно спец лодки воровать, дрянных не берёт! Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

¹ *Табáнить* — грести в обратную сторону для разворота.

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулемётные очереди.

— Садят в божий свет как в копеечку, — шепелявя, усмеяется Катасонов. — Расчётливы вроде и прижимисты, а посмотришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить вслепую?.. Товарищ капитан, может, потом под утро ребят вытащим, — нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины¹, забьём гнёзда солидоллом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне:

— Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надёжного и чтоб молчать уметь! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль разведгруппа, возможно, так и скажи ему: возможно! — подчёркивает Холин, — пойдёт на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближнем большом окопе, где пулемёт. — Холин указывает рукой вниз по течению. — Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдёт, как и зачем, — об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но если сболтнёшь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущённо. — Что я, маленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся. — Он похлопывает меня по плечу. — Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берётся за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

¹ Уключина — приспособление для укрепления весла на борту лодки.

Командир взвода охранения встречается мне неподалёку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячён и возбуждён. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх ногами и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись, — просит меня мальчик. — Я нечаянно, честное слово, нечаянно...

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердишься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же, — отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру. Я молча устанавливаю всё на места, мальчик помогает мне, он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, повозившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочёл?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им ещё потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это ещё в партизанах...

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я. — А почему же ушёл?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолётом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпёж. Живёшь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то, — соглашаюсь я. — Тебе другое нужно. Тебе бы вот в Суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чём тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах, и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?!

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убеждённо. — Только зря!.. Офицером стать я ещё успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты ещё маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подёргивается. — Что ты меня агитируешь, что?! — выкрикивает он взволнованно. — Ты... ты ничего не знаешь и не лезь!.. Напрасные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Всё куришь, — недовольно замечает мальчик. Он любит ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. — От курева лёгкие бывают зелёные.

— Зелёные? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. — Ну и пусть зелёные. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив покрасневшее лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав ещё папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нём какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдём. Давай ужинать.

— А где Катасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — Мальчик живо приподнимается. — Уехал и не зашёл? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге, — объясняет Холин. — Я даже не представляю, что там случилось. Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг... — обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен. С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы, что же, вдвоём пойдём?

— Нет, троём. Он пойдёт с нами, — быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри как баран на новые ворота. Тебе без дураков говорят, — заявляет Холин. Лицо у него серьёзное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я всё же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так, что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твёрдо заявляю я, пытаюсь собраться с мыслями. — Просто неожиданно как-то...

— В жизни всё неожиданно, — говорит Холин задумчиво. — Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернёмся часа через два, — уверяет Холин. — Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня втравил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадёт, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита. Колбасова, — подумав, говорю я. — Он парень боевой...

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный; того и гляди, в политдонесение попадём, тогда неприятностей не оберёшься, — поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху. — Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдёшь на тот берег, будут знать только в охране. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий

с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село, к бабе! Решил осчастливить какую-нибудь дурёху, — ты же живой человек, чёрт побери! Мы вернёмся через два, ну, максимум через три часа, — подумаешь, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьёзное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберёшься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провёл — причём весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это, по существу, тот же наступательный бой, только ведётся он ограниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...



1. Почему мальчик оказался на войне, в самом центре военных действий? Когда в Иване угадывается не взрослый человек, а ребёнок?
2. Какие новые факты из биографии Ивана и Гальцева стали известны из этой главы? Почему автор постепенно, а не сразу рассказывает предысторию каждого из героев?

5

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Ещё я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушёнки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашёл пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроём и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, — объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедленно обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня, — отвлечь внимание немцев и любой ценой прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых миномётов, две миномётные и пулемётная рота — должны интенсивным артналётом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-миномётным огнём немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе всё ясно?

— Да, будто всё.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не потеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае артобстрела.

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налёта, то цели пристреляны заранее и будет вставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов, допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением. — Вам всё кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров, — невесело вздыхает Холин. — Чудак-рыбак, тут всё не раз продумано. В таком деле с кондачка¹ не действуют, учти!..

Он встаёт и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаше прислушивайся. Замирай и прислушивайся!.. По траншеям ходят патрули, значит, подползёшь и выжидай!.. Как патруль пройдёт — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остаётся за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

¹ С кондачка́ (разг.) — не подготовившись, несерьёзно.

— ...будешь ждать в Фёдоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я всё время думаю о тебе. И подполковник тоже...

— А Катасоныч уехал и не зашёл, — с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю, — шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит. — Но всё же мог забежать...

Холин прилёт рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо суечусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на всё, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я всё рву и бросаю в печь.

— Время, — взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастёрку и шаровары и облачается в зелёный маскхалат¹. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего, — ободряет он. — Смелей! Порвёшь — новые выпишем.

¹ *Маскхалат* — маскировочный халат.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты Ф-1 подвешены к поясным ремням (Холин берёт ещё увесистую противотанковую — РПГ-40); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик всё лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и тёмно-серые, с заплатами штаны, потёртая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее бельё, старенькие, все штопанные фуфайка и шерстяные носки, маленькая засаленная заплочная котомка, портянки и какие-то тряпки.

В кусок рядом¹ Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько чёрствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше армейское, а неровное, худосочное, серовато-тёмное от грязной соли да и хлеб не формовый, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как всё предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик всё лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать своё военное обмундирование. Тёмно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

¹ *Рядно́* — грубая ткань.

— Смола, — говорит он. — Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять бездомный отрёпыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.



Ил. И. И. Пчелко

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затёртые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И всё.

— Попрыгали, — говорит мне Холин; проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

* * *

[Гальцев вместе с Иваном и Холиным идут к лодке. Приняты меры предосторожности, чтобы никто их не видел и не знал о разведке. Расчёты миномётов и орудий в боевой готовности, чтобы их прикрыть и в случае необходимости обрушить на позиции немцев шквал огня. Обменялись сигналами с пулемётчиками и артиллерийскими наблюдателями. Уселись в лодку, и Холин начинает грести. Мгла холодной, ненастной ночи обнимает их.]



1. В каком состоянии находится Гальцев перед разведкой? Сравните его поведение с действиями Ивана. Найдите и выпишите самые важные для характеристики героев глаголы.
2. Почему так подробно описывается экипировка офицеров и одежда Ивана?

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплёскивает под ударами вёсел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край — вспышки не так ярки из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять-семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладём в рот по два кусочка сахара и старательно сосём их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плёса, когда впереди отрывисто стучит пулемёт — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлёпают по воде совсем неподалеку.

— МГ-34, — шёпотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Боишься?

— Немножко, — еле слышно признаётся он. — Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Ух и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться, попрошайничая.

— Послушай, — вспомнив, шепчу я, — у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник, случаем?



Ил. И. И. Пчелко

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та не знаю, где сейчас... — Голос его дрогнул. — И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише, видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле, ещё миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив вёсла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряжённо вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлёпают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьётся моё сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи... Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку, — ощутив его рукой, шепчу я.

— Теперь уж всё равно, — отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шёпотом сообщает:

— Порядок! Всё подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадёмся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалёку, мы

падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мёртвые. Уголком глаза я вижу мальчика — одежда его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернёмся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков», — догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы, — быстро шепчет Холин и увлекает его вперёд. — Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают, — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти ещё примерно столько же.

Вскоре мы минуем ещё один труп. <...> С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нём обнаружат. И весь расчёт на то, что мальчик проскользнёт незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак пристесть, сам уходит вперёд.

Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперёд ещё шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении ещё четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.



Ил. И. И. Пчелко

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он замечен на песке метрах в трёх вправо от нас, — очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду, — чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя, — вдруг шепчет Холин. — По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик. — Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу, — упраскивает Холин шёпотом. — Там глина — наследишь. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик. — Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи, — помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! — Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его. — Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Фёдоровке!

— До встречи, — обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая её. Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту.

Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания!», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.



1. Перечитайте эпизод о переправе (с. 175—176). Рассмотрите иллюстрацию (с. 175). Оцените, насколько опасной была переправа. Каково состояние Гальцева? Боится ли Гальцев? С помощью каких деталей писатель и художник передают волнение героя?
2. Почему только в этой главе становится известна настоящая фамилия Ивана?
3. Перечитайте сцену прощания. Сопоставьте текст с иллюстрацией (с. 178). Какие детали в повести и на иллюстрации передают внутреннее напряжение каждого героя?
4. Какое место в развитии сюжета занимает глава 6?

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привёз ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, свёрла, зубила, — мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребёнок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке её рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведётся встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил её в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжёлых наступательных боёв мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была перебита ещё в финскую кампанию. Я узнал его издалека, сразу как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседевшие от инея листья покрывали землю, пахло помётом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я живал у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Всё это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далёким-далёким и неповторимым, как и всё довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак¹ был забит немецкими машинами, сожжёнными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в раз-

¹ *Большак* — большая дорога.

личных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофёр и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортёра. Ещё четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моём приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами¹, смуглое, мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив, — здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня чёрными хитроватыми глазами.

— Я всё-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить, — расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. — Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю, — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел её. — Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десятков, не меньше. Целый сундучок собрал... Что

¹ *Оспина* — щербина на теле от оспы.

поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж... если увижу, передам.

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушёл... Сам ушёл...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушёл... И винить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и ни к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое.

— Ненависть в нём не перекипела. И нет ему покоя... Может, ещё вернётся, а скорей всего к партизанам уйдёт... А ты о нём забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нём — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулемётной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залёг и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведён в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване — как посоветовал мне подполковник, — я, понятно, не мог. И не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.



1. Перечитайте последние слова Грязнова об Иване. Что они означают? Почему нельзя спрашивать о разведчиках?

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и ещё двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвёртого — верхнего — этажа были обнаружены невостребованные шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат <...>.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в чёрном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-верёвку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции — группы армий «Центр», относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных

донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и о мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, — вставляли передо мной.

В делах было немало учётных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточённых боёв воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре города полыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; чёрный дым стелился над руинами.

— Несите всё в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце моё сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке, ниже скулы, темнел кровоподтёк.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с

машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№..... гор. Лунинец. 26.12.43 г. Секретно.

Начальнику полевой полиции группы “Центр”...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10—12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи — Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Сёминой Марии он назвал себя “Иваном”) оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винца был доставлен в полевую полицию...

...установлено, что “Иван” в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... ночевал в заброшенной риге¹ и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично поражёнными гангреной...

При обыске “Ивана” были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — шрам касательного пулевого ранения...

Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырёх суток майором фон Биссингом, обер-лейтенантом Кляммом и фельдфебелем Штамером “Иван” никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

¹ *Rīga* — здесь: сарай для сушки снопов.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооружёнными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

...Титкову... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...»



1. Как сложилась судьба тех военных, которые оказались рядом с Иваном в начале повести? Заполните таблицу «Судьба героев повести «Иван»».

Фамилия	Должность	Звание	Роль в судьбе Ивана	Итог жизни
Гальцев				
Холин				
Грязнов				
Катасонов				

Сделайте вывод о ценности человеческой жизни.

2. Почему о смерти Ивана рассказывается в сухой официальной бумаге из фашистского архива? Расскажите о подвиге юного разведчика.



3. Как в повести описана война? Какие эпизоды военной жизни вам запомнились? Перескажите один из них близко к тексту.
4. Выразительно прочитайте описания природы в повести (главы 2, 6). Какую роль они играют в тексте? На что заставляют обратить внимание читателя? Какое настроение и состояние подчёркивают?
5. Определите, где в повести находятся кульминация и развязка. Почему произведение заканчивается многоточием?
6. Какие черты характера Гальцева, Холина и Ивана наиболее выразительно проявляются в кадрах, помещённых на форзаце 2? Какие детали производят впечатление на зрителей?
7. Посмотрите кинофильм А. А. Тарковского «Иваново детство». Почему режиссёр намеренно снимает не цветной, а чёрно-белый фильм? Чем концовка фильма отличается от финала повести?
8. Представьте, что вы режиссёр, который снимает фильм по повести «Иван» В. О. Богомолова. Как бы вы назвали его? Каких



актёров вы пригласили бы в фильм? Какую музыку подобрали бы? Добавили вы дополнительные сюжетные линии или сцены?

9. Почему повесть названа именем юного героя-разведчика?
10. Рассмотрите форзац 2. Какими изображены дети войны? Почему поэт А. Т. Твардовский писал: «Дети и война — нет более ужасного сближения вещей на свете»?

Элементы документализма в повести



Документальная литература описывает исторические события, анализируя данные архивов, воспоминания очевидцев и другие официально признаваемые источники, которые содержат доказанные факты, цифры.

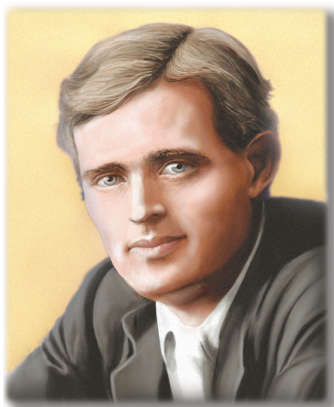
В повести «Иван» есть отдельные элементы, которые сближают художественное произведение с документальной прозой. Прежде всего это образ рассказчика. Повествование в произведении В. О. Богомолова ведётся от первого лица, что уже само по себе придаёт повести правдоподобность. Точка зрения Гальцева, его оценка персонажей и событий близки авторской. Повествователь близок автору по возрасту, довоенной и военной судьбе, восприятию мира и людей, добра и зла, жизни и смерти.

Для усиления документальности писатель точно указывает место и время действия, использует непосредственно документ: о судьбе Ивана рассказывается в копии немецкого «спецсообщения». Однако это не делает повесть документальной. Все перечисленные приёмы лишь усиливают реалистичность и правдоподобность повествования.



1. Какие награды имеет Иван? Обратитесь к историческим материалам и выясните, за что награждали такими медалями и орденами.
2. Попробуйте себя в роли историка. Подготовьте историческую справку о событиях (место, время), описанных в повести. Используйте географические названия из текста.

Из зарубежной литературы



Джек ЛОНДОН

(1876—1916)

«В пятнадцать лет я был уже взрослым... — вспоминал Джек Лондон о своём детстве. — Едва ли не раньше всего в жизни я понял, что такое ответственность. Я совсем не помню, как меня учили грамоте, — читать и писать я умел с пятилетнего возраста, <...> а затем мы переехали на ранчо, и там, с восьми лет, я прилежно работал». Джек Лондон очень любил читать и мечтал о путешествиях.

Он был матросом, служил в рыбацком патруле, участвовал в экспедиции за морскими котиками к берегам Японии.

Однажды сан-францисская газета «Колл» назначила премию за литературный очерк. Джек Лондон написал текст под названием «Тайфун у берегов Японии». «Очень усталый и сонный, зная, что завтра в половине пятого надо быть уже на ногах, я в полночь принялся за очерк и писал не отрываясь, пока не написал две тысячи слов — предельный размер

очерка, — но тему свою я развил лишь наполовину. На следующую ночь я, такой же усталый и сонный, опять сел за работу и написал ещё две тысячи слов, в третью ночь я лишь сокращал и вычёркивал, добиваясь того, чтобы моё сочинение соответствовало условиям конкурса. Первая премия была присуждена мне...». Так началась литературная деятельность Джека Лондона, а всего он написал более 40 книг.



1. Ознакомьтесь подробнее со статьёй «Несколько слов о Джеке Лондоне» Б. Н. Полевого. Что, по мнению автора статьи, было для Дж. Лондона дороже «жёлтого металла»? Во что писатель свято верил и чему научился?

НА БЕРЕГАХ САКРАМЕНТО

Ветер мчится — хо-хо-хью! —
Прямо в Калифорнию.
Сакраменто — край богатый:
Золото гребут лопатой!

Худенький мальчик тонким пронзительным голосом распевал эту морскую песню, которую во всех частях света горланят матросы, выбирая якорь, чтобы двинуться в порт Фриско¹.

Это был обыкновенный мальчуган, он никогда и моря-то в глаза не видел, но всего в двухстах футах от него — только спуститься с утёса — бурлила река Сакраменто. Малыш Джерри — так звали его потому, что был ещё старый Джерри, его отец; от него-то и слышал Малыш эту песню и от него же унаследовал ярко-рыжие вихры, задорные голубые глаза и очень белую, усыпанную веснушками кожу.

Старый Джерри был моряк, он добрую половину своей жизни плавал по морям, а песня матросу сама просится на язык. Но однажды в каком-то азиатском порту, когда он вместе

¹ *Фр́иско* — сокращённое название города Сан-Франциско.

с двадцатью другими матросами пел, выбиваясь из сил над проклятым якорем, слова этой песни впервые заставили его призадуматься всерьёз. Очутившись в Сан-Франциско, он распрощался со своим судном и с морем и отправился поглядеть собственными глазами на берега Сакраменто.

Тут-то он и увидел золото. Он нанялся работать на рудник Золотая Грёза и оказался в высшей степени полезным человеком при устройстве подвесной дороги на высоте двухсот футов¹ над рекой.

Затем эта дорога осталась под его надзором. Он следил за тросами, держал их в исправности, любил их и вскоре стал незаменимым работником на руднике Золотая Грёза. А потом он полюбил хорошенькую Маргарет Келли, но она очень скоро покинула его и малютку Джерри, который только-только начинал ходить, и уснула непробудным сном на маленьком кладбище среди больших, суровых сосен.

Старый Джерри так и не вернулся на морскую службу. Он жил возле своей подвесной дороги и всю любовь, на какую способна была его душа, отдал толстым стальным тросам и малышу Джерри. Для рудника Золотая Грёза наступили чёрные дни, но и тогда старик остался на службе у Компании сторожить заброшенное предприятие.

Однако сегодня утром его что-то не было видно. Один только Малыш Джерри сидел на крылечке и распевал старую матросскую песню. Он сам приготовил себе завтрак и уже успел управиться с ним, а теперь вышел поглядеть на белый свет. Неподалёку, шагах в двадцати от него, возвышался громадный стальной барабан, на который наматывался бесконечный металлический трос. Рядом с барабаном стояла тщательно закреплённая вагонетка² для руды. Проследив взглядом голо-

¹ *Фут* — мера длины, равная 30,479 см.

² *Вагонетка* — платформа для перевозки грузов по подвижным дорогам.

вокругительный полёт стальных тросов, перекинутых высоко над рекой, Малыш Джерри различил далеко на том берегу другой барабан и другую вагонетку.

Сооружение это приводилось в действие просто силой тяжести: вагонетка двигалась, увлекаемая собственным весом, а в это время с противоположного берега двигалась пустая вагонетка. Когда нагруженную вагонетку опорожняли, а пустую нагружали рудой, всё повторялось снова, повторялось много-много сотен и тысяч раз, с тех пор как старый Джерри стал смотрителем подвесной дороги.

Малыш Джерри перестал петь, услышав приближающиеся шаги. Высокий человек в синей рубаше, с винтовкой на плече вышел из соснового леса. Это был Холл, сторож на руднике Жёлтый Дракон, расположенном примерно в миле¹ отсюда вверх по течению Сакраменто, где тоже была перекинута дорога на тот берег.

— Здорово, Малыш! — крикнул он. — Что ты тут делаешь один-одинёшенек?

— А я здесь теперь за хозяина, — ответил Малыш Джерри как нельзя более небрежным тоном, словно ему не впервой было оставаться одному. — Отец, знаете, уехал.

— Куда уехал? — спросил Холл.

— В Сан-Франциско. Он ещё вчера вечером уехал. Брат у него умер, где-то в Старом Свете². Вот он и поехал с адвокатом потолковать. Завтра вечером вернётся.

Всё это Джерри выложил с гордым сознанием, что на него возложена большая ответственность — самолично сторожить рудник Золотая Грёза. Видно было в то же время, что он страшно рад замечательному приключению — возможности пожить совсем одному на этом утёсе над рекой и самому готовить себе завтрак, обед и ужин.

¹ *Милья* — мера длины (английская сухопутная миля равна 1523 м).

² *Старый Свет* — в Америке так называют Европу.

— Ну, смотри будь поосторожней, — посоветовал ему Холл, — не вздумай баловать с тросами. А я вот иду посмотреть, не удастся ли подстрелить оленя в каньоне¹ Колченогой Коровы.

— Как бы дождя не было, — степенно промолвил Джерри.

— А мне что! Промокнуть, что ли, страшно? — засмеялся Холл и, повернувшись, скрылся между деревьями.

Предсказание Джерри насчёт дождя сбылось. Часам к десяти сосны заскрипели, закачались, застонали, стёкла в окнах задребезжали, дождь захлестал длинными косыми струями. В половине двенадцатого Джерри развёл огонь в очаге и, едва пробило двенадцать, уселся обедать.

«Сегодня уж, конечно, гулять не придётся», — решил он, тщательно вымыв и убрав посуду после еды. И ещё подумал: как, должно быть, вымок Холл и удалось ли ему подстрелить оленя?

Около часу дня постучали в дверь, и, когда Джерри открыл, в комнату стремительно ворвались мужчина и женщина, словно их силком выпихнул ветер. Это были мистер и миссис Спиллены — фермеры, жившие в уединённой долине, милях в двенадцати от реки.

— А где Холл? — запыхавшись, отрывисто спросил Спиллен.

Джерри заметил, что фермер чем-то взволнован и куда-то торопится, а миссис Спиллен, по-видимому, очень расстроена.

Это была худая, совсем уже поблёкшая женщина, много поработавшая на своём веку; унылый, беспросветный труд наложил на её лицо тяжёлую печать. Та же тяжкая жизнь согнула спину её мужа, искорёжила его руки и покрыла волосы сухим пеплом ранней седины.

— Он на охоту пошёл, в каньон Колченогой Коровы. А вам что, на ту сторону, что ли, надо?

Женщина стала тихонько всхлипывать, а у Спиллена вырвался возглас, выражавший крайнюю досаду. Он подошёл к окну.

¹ *Каньон* — глубокая речная долина с высокими и крутыми берегами.

Джерри стал с ним рядом и тоже поглядел в окно, в сторону подвесной дороги; тросов почти не было видно за густой пеленой дождя.

Обычно жители окрестных селений переправлялись через Сакраменто по канатной дороге Жёлтого Дракона. За переправу полагалась небольшая плата, из которой компания Жёлтого Дракона платила жалованье Холлу.

— Нам надо на тот берег, Джерри, — сказал Спиллен. — Отца у неё, — он ткнул пальцем в сторону плачущей жены, — задавило на руднике, в шахте Клеверного Листа. Там взрыв был. Говорят, не выживет. А нам только что дали знать.

Джерри почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Он понял, что Спиллен хочет переправиться по тросам Золотой Грёзы, но без старого Джерри он не мог решиться на такой шаг, потому что по их дороге не возили пассажиров и она уже давно находилась в бездействии.

— А может быть, Холл скоро придёт, — промолвил мальчик. Спиллен покачал головой.

— А отец где? — спросил он.

— В Сан-Франциско, — коротко ответил Джерри.

С хриплым стоном Спиллен яростно хлопнул кулаком по ладони. Жена его всхлипывала всё громче, и Джерри слышал, как она причитала: «Ах, не поспеем, не поспеем, умрёт...»

Мальчик чувствовал, что и сам вот-вот заплачет; он стоял в нерешительности, не зная, что предпринять. Но Спиллен решил за него.

— Послушай, Малыш, — сказал он тоном, не допускающим возражений, — нам с женой надо переправиться во что бы то ни стало по твоей дороге. Можешь ты нам помочь в этом деле — запустить эту штуку?



Ил. К. В. Безбородова

Джерри невольно попятился, точно ему предложили коснуться чего-то недозволенного.

— Я лучше пойду посмотрю, не вернулся ли Холл, — робко сказал он.

— А если нет?

Джерри снова замялся.

— Если случится что, я за всё отвечаю. Видишь ли, Малыш, нам до зарезу надо на ту сторону.

Джерри нерешительно кивнул.

— А дожидаться Холла нет никакого смысла, — продолжал Спиллен, — ты сам понимаешь, что из каньона Колченогой Коровы он не скоро вернётся. Так что идём-ка, запусти барабан.

«Не удивительно, что у миссис Спиллен был такой испуганный вид, когда мы помогали ей забираться в вагонетку!» — невольно подумал Джерри, глянув вниз, в пропасть, которая сейчас казалась совсем бездонной. Дальнего берега, находившегося на расстоянии семисот футов, вовсе не было видно сквозь ливень, клубящиеся в вихре клочья облаков, яростную пену и брызги. А утёс, на котором они стояли, уходил отвесной стеной прямо в бурлящую мглу, и казалось, что от стальных тросов туда, вниз, не двести футов, а по крайней мере миля.

— Ну, готово? — спросил Джерри.

— Давай! — во всю глотку заорал Спиллен, чтобы перекрыть вой ветра. Он уселся в вагонетку рядом с женой и взял её за руку.

Джерри это не понравилось.

— Вам придётся держаться обеими руками: ветер сильно швыряет! — крикнул он.

Муж с женой тотчас же разняли руки и крепко ухватились за края вагонетки, а Джерри осторожно отпустил тормозной рычаг. Барабан не спеша завертелся, бесконечный трос стал разматываться, и вагонетка медленно двинулась в воздушную пропасть, цепляясь ходовыми колёсиками за неподвижный рельсовый трос, протянутый вверху.

Джерри уже не в первый раз пускал в ход вагонетку. Но до сих пор ему приходилось это делать только под наблюдением отца. Он осторожно регулировал скорость движения при помощи тормозного рычага. Тормозить было необходимо, потому что от бешеных порывов ветра вагонетка сильно раскачивалась, а перед тем как совсем скрыться за стеной дождя, она так накренилась, что чуть не вывернула в пропасть свой живой груз.

После этого Джерри мог судить о движении вагонетки только по движению троса. Он очень внимательно следил, как трос разматывается с барабана. «Триста футов... — шептал он, по мере того как проходили отметки на кабеле. — Триста пятьдесят... четыреста... четыреста пятьдесят...»

Трос остановился. Джерри дёрнул рычаг тормоза, но трос не двигался. Мальчик обеими руками схватился за трос и потянул его на себя, стараясь сдвинуть его с места. Нет! Где-то явно застопорило. Но где именно, он не мог догадаться, и вагонетки не было видно. Он поднял глаза вверх и с трудом различил в воздухе пустую вагонетку, которая должна была двигаться к нему с такой же скоростью, с какой вагонетка с грузом удалялась. Она была от него примерно в двухстах пятидесяти футах. Это означало, что где-то в серой мгле на высоте двухсот футов над кипящей рекой и на расстоянии двухсот пятидесяти футов от другого берега висят в воздухе застрявшие в пути Спиллен с женой.

Три раза Джерри окликал их во всю силу своих лёгких, но голос его тонул в неистовом рёве непогоды. В то время как он лихорадочно перебирал в уме, что бы такое сделать, быстро бегущие облака над рекой вдруг поредели и разорвались, и он на мгновение увидел вздувшуюся Сакраменто внизу и висящую в воздухе вагонетку с людьми. Затем облака снова сошлись, и над рекой стало ещё темнее, чем раньше.

Мальчик тщательно осмотрел барабан, но не обнаружил в нём никаких неполадок. По-видимому, что-то неисправно в барабане на том берегу. Страшно было представить себе, как эти двое висят над пропастью среди ревущей бури, раскачиваясь

в утлой¹ вагонетке, и не знают, почему она вдруг остановилась. И подумать только, что им придётся так и висеть до тех пор, пока он не переправится на тот берег по тросам Жёлтого Дракона и не доберётся до злополучного барабана, из-за которого всё это стряслось!

Но тут Джерри вспомнил, что в чулане, где хранятся инструменты, есть блок и верёвки, и со всех ног бросился за ними. Он быстро прикрепил блок к тросу и стал тянуть — тянул изо всех сил, так что руки прямо отрывались от плеч, а мускулы, казалось, вот-вот лопнут. Однако трос не сдвинулся с места. Теперь уж ничего другого не оставалось, как перебраться на тот берег.

Джерри уже успел промокнуть до костей, так что теперь сломя голову бежал к Жёлтому Дракону, даже не замечая дождя. Ветер подгонял его, и бежать было легко, хоть и беспокоила мысль, что придётся обойтись без помощи Холла и некому будет тормозить вагонетку. Он сам соорудил себе тормоз из крепкой верёвки, которую накинул петлёй на неподвижный трос.

Ветер с бешеной силой налетел на него, засвистел, заревел ему в уши, раскачивая и подбрасывая вагонетку, и Малыш Джерри ещё яснее представил себе, каково сейчас тем двоим — Спиллену и его жене. Это придало ему мужества. Благополучно переправившись, он вскарабкался по откосу и, с трудом удерживаясь на ногах от порывов ветра, но всё же пытаясь бежать, направился к барабану Золотой Грёзы.

Осмотрев его, Малыш с ужасом обнаружил, что барабан в полном порядке. И на этом, и на другом конце всё в исправности. Где же в таком случае застопорило? Не иначе как по середине!

Вагонетка с четой Спилленов находилась от него всего на расстоянии двухсот пятидесяти футов. Сквозь движущуюся дождевую завесу Джерри мог различить мужчину и женщину, скорчившихся на дне вагонетки и словно отданных на рас-

¹ Утлый — непрочный, ненадёжный.

терзание разъярённым стихиям. В промежутке между двумя шквалами он крикнул Спиллену, чтобы тот проверил, в порядке ли ходовые колёсики.

Спиллен, по-видимому, услышал его, потому что Джерри видел, как он, осторожно приподнявшись на колени, ощупал оба колёсика вагонетки, затем повернулся лицом к берегу.

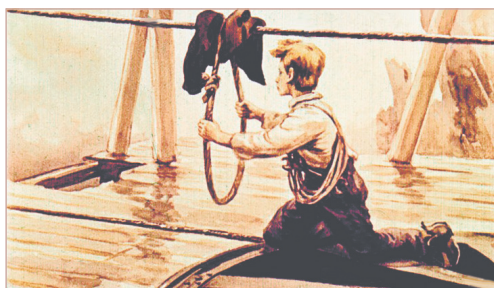
— Здесь всё в порядке, Малыш!

Джерри едва расслышал эти слова, но смысл их дошёл до него. Так что же всё-таки случилось? Теперь уже можно было не сомневаться, что всё дело в пустой вагонетке; её не было видно отсюда, но он знал, что она висит там, в этой ужасной бездне, за двести футов от вагонетки Спиллена.

Он, не задумываясь, решил, что надо делать. Ему было всего четырнадцать лет, этому худощавому, подвижному мальчугану, но он вырос в горах, отец посвятил его в разные тайны матросского искусства, и он совсем не боялся высоты.

В ящике с инструментами около барабана он разыскал старый гаечный ключ, небольшой железный прут и целую связку почти нового манильского троса. Он безуспешно пытался найти какую-нибудь дощечку, чтобы смастерить себе некое подобие матросской люльки, но под рукой не оказалось ничего, кроме громадных тесин; распилить их было нечем, и он вынужден был обойтись без удобного седла.

Седло, которое Джерри себе устроил, было проще простого: он перекинул канат через неподвижный трос, на котором висела пустая вагонетка, и, затянув его узлом, сделал большую петлю; сидя в этой петле, он без труда мог достать руками до троса и держаться за него. А вверху, где петля должна была тереться о металлический трос, он подложил свою куртку, потому что как ни искал, нигде не мог найти тряпки или старого мешка.



Ил. К. В. Безбородова

Наскоро закончив все эти приготовления, Джерри повис в своей петле и двинулся прямо в бездну, перебирая руками трос. Он взял с собой гаечный ключ, небольшой железный прут и несколько футов верёвки. Путь его лежал не горизонтально, а несколько вверх, но не подъём затруднял его, а страшный ветер. Когда бешеные порывы ветра швыряли Джерри то туда, то сюда и чуть не переворачивали кругом, он чувствовал, что сердце у него замирает от страха. Ведь трос совсем старый... А вдруг он не выдержит его тяжести и этих бешеных натисков ветра — не выдержит и оборвётся?

Это был самый откровенный страх. Джерри чувствовал, как у него сосёт под ложечкой, а колени дрожат мелкой дрожью, которую он не в силах был сдерживать.

Но Малыш мужественно продолжал свой путь. Трос был ветхий, раздёрганный, острые концы оборванных проволок, торчавшие во все стороны, в кровь раздирали руки. Джерри



Ил. К. В. Безбородова

заметил это, только когда решил сделать первую остановку и попытался докричаться до Спилленов. Их вагонетка висела теперь прямо под ним, на расстоянии всего нескольких футов, так что он уже мог объяснить им, что случилось и зачем он пустился в это путешествие.

— Рад бы помочь тебе, — крикнул Спиллен, — да жена у меня совсем не в себе! Смотри, Малыш, будь осторожнее! Сам я напросился на это, но теперь, кроме тебя, нас некому вызвать.

— Да уж так я вас не оставляю! — крикнул ему в ответ Джерри. — Скажите миссис Спиллен, что не пройдёт и минуты, как она будет на той стороне.

Под слепящим проливным дождём, болтаясь из стороны в сторону, как соскочивший маятник, чувствуя нестерпимую боль в изодранных ладонях, задыхаясь от усилий и от вры-

вавшейся в лёгкие стремительной массы воздуха, Джерри наконец добрался до пустой вагонетки. С первого же взгляда мальчик убедился, что не напрасно совершил это страшное путешествие. Вагонетка висела на двух колёсиках; одно из них сильно поистерлось за время долгой службы и соскочило с троса, который был теперь намертво зажат между самим колёсиком и его обоймой.

Ясно было, что прежде всего надо освободить колёсико из обоймы, а на время этой работы вагонетку необходимо крепко привязать верёвкой к неподвижному тросу.

Через четверть часа Джерри наконец удалось привязать вагонетку, — это было всё, чего он добился. Чека, державшая колёсико на оси, совсем заржавела и стала намертво. Джерри изо всей силы колотил по ней одной рукой, а другой держался, как мог, но ветер непрерывно налетал и раскачивал его, и он очень часто промахивался и не попадал по чеке. Девять десятых всех его усилий уходило на то, чтобы удержаться на месте; опасаясь уронить ключ, он привязал его к руке носовым платком.



Ил. К. В. Безбородова

Прошло уже полчаса. Джерри сдвинул чеку с места, но вытащить её ему не удалось. Десятки раз он готов был отчаяться, всё казалось напрасным — и опасность, которой он себя подвергал, и все его старания. Но внезапно его словно осенило. С лихорадочной поспешностью он стал рыться в карманах. И нашёл то, что ему было нужно, — длинный толстый гвоздь.

Если бы не этот гвоздь, который неведомо когда и как попал к нему в карман, Джерри пришлось бы снова возвращаться на берег. Пронзив гвоздь в отверстие чеки, он наконец ухватил её, и через минуту чека выскочила из оси. Затем началась возня с железным прутком, которым он старался освободить колёсико, застрявшее между тросом и обоймой. Когда

это было сделано, Джерри поставил колёсико на старое место и, с помощью верёвки подтянув вагонетку, посадил наконец колёсико на металлический трос.

Однако на всё это потребовалось немало времени. Часа полтора прошло с тех пор, как Джерри сюда добрался. И вот теперь он наконец решился вылезти из своего «седла» и прыгнуть в вагонетку. Он отвязал верёвку, которая её держала, и колёсики медленно заскользили по тросу. Вагонетка двинулась. И мальчик знал, что где-то там, внизу — хотя ему это и не было видно, — вагонетка со Спилленами тоже двинулась, только в обратном направлении.

Теперь ему уже не нужен был тормоз, потому что вес его тела достаточно уравнивал тяжесть другой вагонетки. И скоро из мглы облаков показался высокий утёс и старый, знакомый, уверенно вращавшийся барабан.

Джерри соскочил на землю и закрепил свою вагонетку. Он проделал это спокойно и тщательно. А потом вдруг — совсем уже не по-геройски — бросился на землю у самого барабана, невзирая на бурю и ливень, и громко зарыдал.

Причин для этого было немало: нестерпимая боль в изодранных руках, страшная усталость и сознание, что он наконец освободился от ужасного нервного напряжения, не отпускавшего его несколько часов, и ещё горячее, захватывающее чувство радости оттого, что Спиллен с женой теперь в безопасности.

Они были далеко и, понятно, не могли его поблагодарить, но он знал, что где-то там, за разъярённой, беснующейся рекой, они сейчас спешат по тропинке к шахте Клеверного Листа.

Джерри, пошатываясь, побрёл к дому. Белая ручка двери окрасилась кровью, когда он взялся за неё, но он даже не заметил этого.

Мальчик был горд и доволен собой, потому что он твёрдо знал, что поступил правильно; а так как он ещё не умел хитрить, то не боялся признаться самому себе, что сделал хорошее дело. Одно только маленькое сожаление копошилось у него в сердце: ах, если бы отец был здесь и видел его!



1. Перечитайте начало рассказа. Какие слова в описании Джерри вы бы выделили? Какие черты характера и внешности он унаследовал от отца? Почему автор подчёркивает сходство отца и сына?
2. Прочитайте по ролям диалог Джерри и Холла (с. 192—195). Как возникает доверие к мальчику?
3. Проанализируйте разговор Джерри с мистером Спилленом. Найдите слова, показывающие, как изменяется состояние мальчика. Какой довод убедил Джерри?
4. Рассмотрите иллюстрацию (с. 193). Почему Джерри изображён сидящим? Как передано на иллюстрации состояние Спилленов? Почему на рисунке никто из героев не смотрит друг на друга?
5. На основании текста продолжите схему действий Джерри по спасению людей:
 1. Осмотрел барабан.
 2. Попытался притянуть блок.
 3. Переправился через Жёлтый Дракон...Оцените усилия мальчика на каждом этапе спасения.
6. Перечитайте последние абзацы. Что испытывает мальчик? Как он принимает решения? Почему нет сомнений и колебаний у героя произведения? Почему именно так закончил рассказ автор?
7. Перечитайте описания природы (с. 195—196). Определите слова, которыми автор характеризует непогоду. Какие чувства вызывает такой пейзаж у читателей? Как чувствовали себя участники событий: Спиллены, Джерри?



8. Как художник передал решимость Джерри на иллюстрациях (с. 197—199)? Что предложили бы вы изменить на рисунках, чтобы усилить впечатление, подчеркнуть героизм мальчика?
9. Представьте, что вы корреспондент. Подготовьте список вопросов для интервью с Джерри. Особое внимание уделите тому, как закончить разговор.
10. Напишите заметку для новостей о поступке Джерри. Подумайте, на что следует обратить внимание читателей.
11. От лица Спилленов напишите благодарственное письмо отцу Джерри.

Повторение



1. Подготовьте по 5 вопросов к литературной викторине. Вопросы должны быть направлены на узнавание героев, времени и места действия, темы и основной мысли произведения.
2. Вспомните не менее двух своих любимых произведений разных литературных родов и жанров. Составьте для них карточки-презентации по схеме: автор — время написания — род литературы — жанр — тема — идея. Сыграйте в игру «Узнай произведение», используя заранее подготовленные карточки.
3. Составьте синквейн по наиболее понравившемуся произведению, которое изучалось (было самостоятельно прочитано) в 6-м классе.
4. Соберите в итоговую таблицу все сведения об эпических (группа 1) и лирических (группа 2) произведениях. Подготовьте развёрнутый ответ об особенностях эпических и лирических произведений.



5. К. Г. Паустовский заметил: «Человек, любящий и умеющий читать, — счастливый человек». Согласны ли вы с высказыванием писателя? Как бы вы ещё предложили завершить фразу Паустовского?
6. Вспомните, с какими литературоведческими понятиями познакомились в 6-м классе. Составьте кроссворд со словами: эпитет, гипербола, деталь, портрет, звукопись, размер, сравнение, ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий, автобиографичность, документализм. При необходимости используйте и другие понятия из литературоведческого словаря.



7. Самостоятельно выберите и выполните несколько заданий из раздела «Повторение и обобщение».

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Аллего́рия — иносказание, способ маскировки настоящего смысла, который автор хочет спрятать за образами.

Аллитера́ция — разновидность звукописи, повтор одинаковых (со-звучных) согласных звуков.

Амфибра́хий — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге.

Ана́пест — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на третьем слоге.

Анти́теза — противопоставление образов, поступков, картин, слов, понятий (как правило, это антонимы).

Ассона́нс — разновидность звукописи, повторение гласных звуков.

Ба́сня — небольшой стихотворный или прозаический рассказ, основанный на использовании аллегии, имеющий поучительный вывод — мораль.

Бы́лина — жанр устного народного творчества, повествующий о героических событиях из русской истории IX—XIII веков.

Да́ктиль — трёхсложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге.

Жи́тие — произведение о жизни христианских святых.

Зву́копись — повторение определённых звуков для передачи природных явлений или состояния человека.

Компози́ция — это построение произведения, последовательность его частей или других элементов.

Ле́топись — жанр древнерусской литературы, в котором содержится документальное изложение каких-либо прошлых или современных летописцу событий.

Мета́фора — использование слова в переносном значении, при котором происходит уподобление одного предмета другому по сходству.

Миф — это повествование о богах и героях.

Моноло́г — развёрнутое высказывание, речь одного человека, обращённая к самому себе (или к читателю, зрителю), которая представляет собой размышление о каком-то событии и его оценку.

Мора́ль — краткий поучительный вывод, которым обычно заканчивается басня.

Олицетво́рение — наделение какого-либо предмета или явления свойствами живого существа.

По́весть — средний эпический жанр, который по объёму меньше романа, но больше рассказа.

Посла́ние — небольшое стихотворение в форме письма с обращением к конкретному человеку; отличается эмоциональностью и торжественностью, содержит просьбу или пожелание автора.

Поуче́ние — произведение, в котором содержатся наставления о правилах поведения.

Расска́з — небольшое произведение, которое повествует, как правило, об одном случае из жизни какого-либо героя.

Ритм стихотво́рный — равномерное чередование каких-либо фрагментов в стихотворении (строк с определённым количеством слогов, ударных и безударных слогов в одной строке и т. д.).

Сати́ра — резкое обличение людских пороков, отрицательных явлений действительности.

Сказа́ние — жанр древнерусской литературы, в котором повествуется об историческом лице или событии.

Ска́зка — небольшое эпическое произведение со счастливым финалом, основанное на вымысле и использовании фантастики.

Сравне́ние — сопоставление одного предмета или явления с другим. Часто вводится союзами *как, будто, словно*.

Стопа́ — несколько слогов в стихотворной строке, объединённых одним ударением. Бывают двусложные и трёхсложные стихотворные стопы.

Сюже́т — это последовательность событий, описанных в произведении.

Хоре́й — двусложная стихотворная стопа с ударением на первом слоге.

Худо́жественная дета́ль — средство создания образа; важная мелочь, выразительная подробность, которая позволяет выделить самое существенное в герое или событии, передаёт авторское отношение к происходящему в произведении.

Чи́стое иску́ство — это искусство для искусства, где воспевались красота природы и человека, любовь и радостное отношение к жизни, передавались тончайшие впечатления и ощущения автора.

Эпи́тет — образное определение.

Юмор — изображение чего-то в смешном виде; весёлый, добродушный смех.

Я́мб — двусложная стихотворная стопа с ударением на втором слоге.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Алексеев, Н. М. Гоголь и Пушкин [Электронный ресурс] / Н. М. Алексеев. — Режим доступа : <http://photoshare.ru/photo13090567.html>.

Безбородов, К. В. Иллюстрации к произведению «На берегах Сакраменто» [Электронный ресурс] / К. В. Безбородов. — Режим доступа : <http://diafilmy.su/2843-na-beregah-sokramento.html>.

Белорусские дети. Деревня Лозоватка : иллюстрация [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://arhlib.ru/2015/05/malenkie-soldaty-bolshoy-voyni/>.

Богомолов, В. О. Сборник / В. О. Богомолов. — М. : Детская литература, 1986. — 147 с. — (Библиотека мировой литературы для детей).

Брумберг, В. Мультфильм «Ночь перед Рождеством» : кадр [Электронный ресурс] / В. Брумберг. — Режим доступа : <https://tv.pgtrk.ru/ru/show/19/52260?page=2>.

Бубнов, А. П. Ночь перед Рождеством [Электронный ресурс] / А. П. Бубнов. — Режим доступа : https://www.liveinternet.ru/users/lviza_neo/post428000842.

Бут, Н. Я. Юнга [Электронный ресурс] / Н. Я. Бут. — Режим доступа : <https://kolybanov.livejournal.com/6395562.html>.

Ванециан, А. В. Иллюстрация к произведению «Станционный смотритель» [Электронный ресурс] / А. В. Ванециан. — Режим доступа : <https://proshkolu.ru/user/behtjanova/blog/169803/>.

Вельц, И. А. Украинская ночь [Электронный ресурс] / И. А. Вельц. — Режим доступа : <https://gallerix.ru/album/200-Russian/pic/glr-x-270535278>.

Вечера на хуторе близ Диканьки : первое издание : иллюстрация [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.mediaholding100.com/2018/11/224.html>.

Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений : в 14 т. / Н. В. Гоголь. — М. : Издательство АН СССР, 1937—1952. — Т. 1.

Горький, М. Полное собрание сочинений / М. Горький. — М. : Наука, 1972. — Т. 15 : Художественные произведения.

Гугель, А. С. Дети войны : иллюстрация [Электронный ресурс] / А. С. Гугель. — Режим доступа : <https://parashutov.livejournal.com/214192.html>.

Дехтерёв, Д. А. Иллюстрации к произведению «Детство» [Электронный ресурс] / Д. А. Дехтерёв. — Режим доступа : <https://yandex.by/collections/card/5b15b043-7222143dfa52a64d/>.

Добужинский, М. В. Иллюстрации к произведению «Станционный смотритель» [Электронный ресурс] / М. В. Добужинский. — Режим доступа : <http://www.literaturus.ru/2016/09/illjustracii-stancionnyj-smotritel-pushkin-kartinki-risunki.html>.

Донской, М. Фильм «Детство Горького» : кадр [Электронный ресурс] / М. Донской. — Режим доступа : <http://auction-mobiles.ru/v/6068>.

Игнатьев, Б. Диафильм к произведению «Детство» : кадр [Электронный ресурс] / Б. Игнатьев. — Режим доступа : <https://diafilm.net/diafilm/2689-zhizn-deda-kashirina>.

Ионайтис, О. Р. Иллюстрации к произведению «Ночь перед Рождеством» [Электронный ресурс] / О. Р. Ионайтис. — Режим доступа : https://www.liveinternet.ru/users/lara_rimmer/post381345926/.

Кившенко, А. Д. Охота с гончими [Электронный ресурс] / А. Д. Кившенко. — Режим доступа : <https://гончиероссии.рф/galerei/zhivopis/event/Russia#0>.

Лондон, Дж. На берегах Сакраменто [Электронный ресурс] / Дж. Лондон. — Режим доступа : <https://lib.rin.ru/authors/dzhek-london>.

Моллер, Ф. А. Гоголь Н. В., портрет [Электронный ресурс] / Ф. А. Моллер. — Режим доступа : <https://www.culture.ru/persons/8127/nikolai-gogol>.

Музей детства М. Горького : иллюстрация [Электронный ресурс]. — Режим доступа : https://yandex.by/maps/org/muзей_detstva_a_m_gorkogo_domik_kashirina/1107072794/?ll=43.990760%2C56.323907&source=wizbiz_new_text_single&z=17.

Мушинская, Т. Ф. Русская литература : учеб. пособие для 6 класса учрежд. общ. сред. образования с рус. и бел. яз. обучения / Т. Ф. Мушинская, Е. В. Перевозная, С. Н. Каратай. — Минск : Национальный институт образования, 2014. — 352 с.

Павлов, А. Горький М., портрет [Электронный ресурс] / А. Павлов. — Режим доступа : <https://tv.pgtrk.ru/ru/show/19/52260?page=2>.

Пчелко, И. И. Иллюстрации к произведению «Иван» [Электронный ресурс] / И. И. Пчелко. — Режим доступа : <http://ay.by/lot/ivan-vladimir-bogomolov-hudozhnik-igor-pchelko-5019668869.html>.

Репин, И. Е. Толстой Л. Н., портрет [Электронный ресурс] / И. Е. Репин. — Режим доступа : https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/1348-portret-lva-tolstogo-repin-1887.html.

Родионов, М. С. Иллюстрация к произведению «Ночь перед Рождеством» [Электронный ресурс] / М. С. Родионов. — Режим доступа : <https://www.liveinternet.ru/users/glebka2010/post428323764/>.

Роу, А. Фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» : кадр [Электронный ресурс] / А. Роу. — Режим доступа : <http://fullfilmhd.space/2017/04/17/vechera-na-hutore-bliz-dikanki.html>.

Тарковский, А. А. Фильм «Иваново детство» : кадр [Электронный ресурс] / А. А. Тарковский. — Режим доступа : <https://www.kinopoisk.ru/film/42667/>.

Толстой Л. Н. в детстве : фотография [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://divo-ra.blogspot.com/2017/05/blog-post_521.html.

Толстой, Л. Н. Детство / Л. Н. Толстой ; худ. Н. Панин. — М. : Оникс.

Тропинин, В. А. Пушкин А. С., портрет [Электронный ресурс] / В. А. Тропинин. — Режим доступа : <http://www.art-portrets.ru/artists/kartina-tropinina-pushkin.html>.

Современные издания Л. Н. Толстого : иллюстрации [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://znaika.ru/market/product/221396>, <http://my-book-shop.ru/sec/2932/id/2724829.html> ; <https://www.labirint.ru/screenshot/goods/269690/1/> ; <https://animedia-company.cz/ebooks-catalog/classics/detstvo-otrocestvo-junost/detstvo-otrocestvo-junost-600/>.

Сорин, С. А. Горький М., портрет [Электронный ресурс] / С. А. Сорин. — Режим доступа : http://www.kultpro.ru/item_662/.

Черныльница Н. В. Гоголя : иллюстрация [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://izi.travel/ru/browse/e73a3b85-d61b-4788-b2a4-626a75ab54e3>.

Фотография В. О. Богомолова [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://briefly.ru/bogomolov/>.

Фотография Дж. Лондона [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <https://www.deviantart.com/che38/art/Jack-London-an-american-socialist-writer-503573132>.

Шмаринов, Д. Иллюстрации к произведению «Станционный смотритель» [Электронный ресурс] / Д. Шмаринов. — Режим доступа : <https://www.labirint.ru/screenshot/goods/598094/12/>.

Юон, К. Ф. Пирс на Волге. Нижний Новгород [Электронный ресурс] / К. Ф. Юон. — Режим доступа : <https://public.fotki.com/vakin/aa7ae/3g280/i0b6d/1912-5164.html>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТЬ КАК ЭПИЧЕСКИЙ ЖАНР

<i>Литературный герой</i>	3
А. С. Пушкин. Повести Белкина	4
Станционный смотритель	5
<i>Образ «маленького» человека</i>	19
Н. В. Гоголь	20
Ночь перед Рождеством (<i>В сокращении</i>)	21
<i>Юмор и сатира в повести</i>	47
Л. Н. Толстой	48
Детство (<i>Избранные главы</i>)	49
<i>Автобиографическая повесть</i>	75
Максим Горький	77
Детство (<i>Главы I—IV</i>)	77
В. О. Богомолов	137
Иван (<i>В сокращении</i>)	138
<i>Элементы документализма в повести</i>	187

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Дж. Лондон	188
На берегах Сакраменто	189
Повторение	202
Литературоведческий словарь	203
Список использованных источников	205

(Название и номер учреждения общего среднего образования)

Учебный год	Имя и фамилия учащегося	Состояние учебного пособия при получении	Оценка учащегося за пользование учебным пособием
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			
20 /			

Учебное издание

**Захарова Светлана Николаевна
Юстинская Гюльнара Мансуровна**

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебное пособие для 6 класса
учреждений общего среднего образования
с белорусским и русским языками обучения

В двух частях

Часть 2

Нач. редакционно-издательского отдела *Г. И. Бондаренко*

Редактор *Т. В. Примачёнок*

Обложка художника *З. П. Болтиковой*

Художественный редактор *Е. П. Протасеня*

Художник *В. А. Протасеня*. Компьютерная вёрстка *О. М. Брикет*

Корректоры *Е. В. Шобик, Д. Р. Лосик, В. П. Шкредова, С. С. Михнёнок*

Подписано в печать 26.02.2019. Формат 70×90^{1/16}. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,21. Уч.-изд. л. 10,00. Тираж 129 640 экз. Заказ

Научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/263 от 02.04.2014. Ул. Короля, 16, 220004, г. Минск

ОАО «Полиграфкомбинат им. Я. Коласа». Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 2/3 от 04.10.2013.

Ул. Корженевского, 20, 220024, г. Минск



И. А. Вельц.
Украинская ночь. Зима



Кадр из фильма
«Вечера на хуторе
близ Диканьки» (1962)

Современные
издания
Л. Н. Толстого



Л. Н. Толстой
в детстве

Н. Панин.
Иллюстрации к повести
«Детство»



Ю. Гершкович.
Кадр из диафильма
«Детство Льва Толстого»
(1970)



Н. М. Алексеев.
Гоголь и Пушкин



Одно
из первых изданий



Чернильница
Н. В. Гоголя



А. П. Бубнов.
Ночь перед Рождеством

Кадр из мультфильма
«Ночь перед Рождеством»
(1951)



А. Д. Кившенко.
Охота с гончими



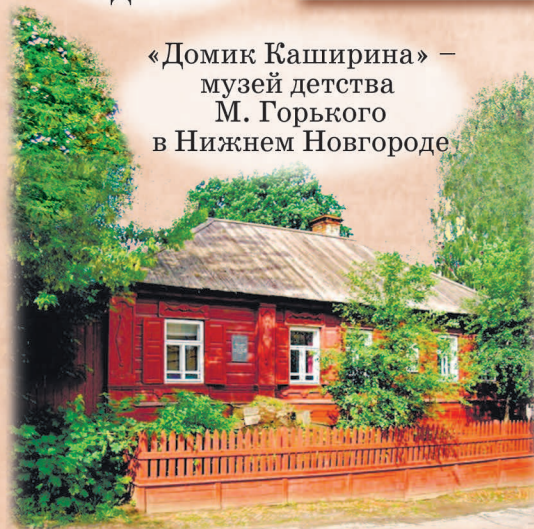
К. Ф. Юон.
Пирс на Волге.
Нижний Новгород



Б. А. Дехтерёв.
Иллюстрации
к повести
«Детство»



«Домик Каширина» –
музей детства
М. Горького
в Нижнем Новгороде



Комната бабушки
в музее детства М. Горького



Кадр из фильма
«Детство Горького»
(1938)



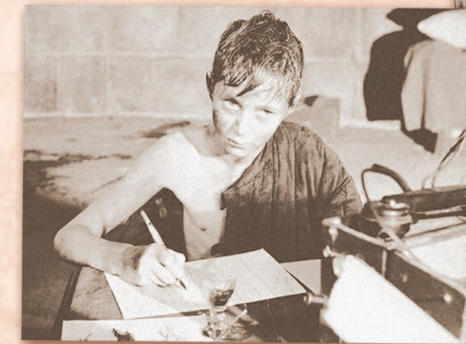
Комната
Алëши с матерью
в музее детства
М. Горького



Н. Я. Бут.
Юнга



Белорусские дети.
Деревня Лозоватка
(1944)



Кадры из фильма
«Иваново детство»
(1962)



А. С. Гугель.
Дети войны